This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES SCIENTIA VERITAS
1817

Russian Titles for the Specialist No. 67

D. Merezhkovsky

CHEKHOV and GORKY

ЧЕХОВЪ и ГОРЬКІЙ

Д. С. МЕРЕЖКОВСКАГО

PRIDEAUX PRESS

Letchworth Herts

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Russian Titles for the Specialist No. 67

D. Merezhkovsky

CHEKHOV and GORKY

ЧЕХОВЪ и ГОРЬКІЙ

Д. С. МЕРЕЖКОВСКАГО

PRIDEAUX PRESS

Letchworth Herts

891.78
L51C
M156
1975

First published in Russia 1906
This edition first published 1975

Printed in England by
O & O Agency
Spirella Building
Letchworth Herts

1128641-298

Merezhkovskiĭ, D. S.

ЧЕХОВЪ и ГОРЬКІЙ

Д. С. МЕРЕЖКОВСКАГО

ИЗДАНІЕ М. В. ПИРОЖКОВА
1906

891.78
C 510
M 56
1975

Акц. Общ. Типогр. Дѣла въ СПб. (Герольдъ)
Вознесенскій пр. 3.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДМИТРІЮ ВЛАДИМІРОВИЧУ

ФИЛОСОФОВУ

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ЧЕХОВЪ и ГОРЬКІЙ

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

Чеховъ и Горькій

I

Если бы теперь, когда для Россіи наступаетъ страшный судъ исторіи, русская интеллигенція пожелала узнать, съ чѣмъ она пойдетъ на этотъ судъ, то могла бы сдѣлать это лучше всего по произведеніямъ Чехова и Горькаго.

Какъ бы мы ни судили о сравнительной величинѣ обоихъ писателей, несомнѣнно одно: они заслонили отъ насъ двухъ послѣднихъ великановъ русской литературы, Л. Толстого и Достоевскаго. Ибо нечего грѣха таить: великаны эти оказались намъ не по плечу.

Чеховъ и Горькій русской интеллигенціи какъ разъ по плечу. Они ея духовные вожди и учители, „властители думъ“ современнаго поколѣнія русской интеллигенціи.

По Л. Толстому и Достоевскому можно судить не столько о современной дѣйствительности, сколько о болѣе или менѣе далекихъ возможностяхъ русскаго духа, не о томъ, что есть, а о томъ, что будетъ и, можетъ быть, еще не скоро будетъ въ Россіи. По Чехову и Горькому можно судить о томъ, что сейчасъ есть или сейчасъ будетъ. Л. Толстой и Достоевскій выразители глубочайшей народной стихіи и высочайшаго культурнаго сознанія Россіи. Чеховъ и Горькій выразители не столько народной, сколько сословной, не столько культурной, сколько интеллигентной сере-

дины русскаго средняго сословія, самаго многочисленнаго и дѣятельнаго, которому въ настоящее время предстоитъ „дѣлать исторію“ и за то, что будетъ сдѣлано, дать отвѣтъ на страшномъ судѣ исторіи.

Если бы средняго русскаго интеллигента спросить, за что онъ любитъ Чехова и Горькаго, не за то ли, что они учатъ вѣрить въ торжество прогресса, науки, человѣческаго разума,—всего того, что называется „гуманными идеями“,—то интеллигентъ отвѣтиль бы, что это именно такъ; и если бы возразить ему, что Чеховъ и Горькій, хотя дѣйствительно учатъ вѣрить другихъ и сами стараются вѣрить во все это, но уже почти не вѣрятъ, и что подлинное творчество ихъ направлено къ тому, чтобы показать невозможность этой вѣры и душевное состояніе людей, утратившихъ возможность какой бы то ни было вѣры,—то интеллигентъ счелъ бы такое утвержденіе не только величайшею нелѣпостью, но и величайшимъ оскорбленіемъ славы живого и памяти почившаго писателя,—наконецъ, оскорбленіемъ его самого, интеллигента, въ главной святынѣ своей, ибо вѣра, именно вѣра въ „гуманныя идеи“ есть донынѣ главная и единственная святыня его. Но для тѣхъ, кто не останавливается на общедоступной внѣшности литературныхъ явленій, кто умѣетъ слышать не только то, что писатели говорятъ, но и то, о чемъ они молчатъ,—для тѣхъ несомнѣнно, что съ этою вѣрою у Чехова и Горькаго не все обстоитъ такъ благополучно, какъ кажется, и что, сами того не желая, можетъ быть, даже не сознавая, оба эти писатели только то и дѣлаютъ, что подкапываютъ и разрушаютъ всѣ вѣрованія, всѣ идеалы или идолы русской интеллигенціи. Нельзя, впрочемъ, слишкомъ строго судить читателя за то, что онъ проглядѣлъ разрушительную сторону въ творчествѣ Чехова и Горькаго: они умѣютъ молчать и скрывать свое послѣднее безвѣрье не только отъ другихъ, но и отъ самихъ себя; лишь изрѣдка, когда это молчанье становится похожимъ на подвигъ того спартанскаго мальчика, который пряталъ подъ платьемъ лисицу, пожиравшую ему внутрен-

ности, — они говорятъ и даже кричатъ такъ, что нельзя не услышать имѣющимъ уши, чтобъ слышать.

„Я напишу одну маленькую книгу. Я назову ее — Отходная: есть такая молитва, ее читаютъ надъ умирающими. И это общество, проклятое проклятіемъ внутренняго безсилія, передъ тѣмъ, какъ издохнуть ему, приметъ мою книгу, какъ мускусъ".

Иногда кажется, что эти страшныя слова одного изъ своихъ героевъ Горькій могъ бы сказать отъ себя, а за Горькимъ и Чеховъ, что оба они въ одинъ голосъ пропѣли отходную не глубочайшей народной стихіи и высшему культурному сознанію Россіи, а той интеллигентной середины, или посредственности, которая увидѣла въ нихъ своихъ пророковъ и учителей, что они „дали мускусъ умирающему", и то, что онъ принялъ въ нихъ за новую жизнь, за воскресеніе свое,—было лишь мгновеннымъ возбужденіемъ предсмертнаго мускуса.

Но прежде чѣмъ говорить о содержаніи, надо сказать два слова о художественной формѣ обоихъ писателей.

О Горькомъ, какъ о художникѣ, именно больше двухъ словъ говорить не стоитъ. Правда о босякѣ, сказанная Горькимъ, заслуживаетъ величайшаго вниманія; но поэзія, которою онъ къ сожалѣнію считаетъ нужнымъ украшать иногда эту правду ничего не заслуживаетъ, кромѣ снисходительнаго забвенія. Всѣ лирическія изліянія автора, описанія природы, любовныя сцены — въ лучшемъ случаѣ, посредственная, въ худшемъ — совсѣмъ плохая литература. Впрочемъ, тѣмъ простодушнымъ критикамъ, которые сравниваютъ Горькаго, какъ художника, съ Пушкинымъ, Гоголемъ, Л. Толстымъ и Достоевскимъ, все равно ничего не докажешь. Вообще босякъ съ поэзіей напоминаетъ Смердякова съ гитарой, а русская критика — хозяйкину дочку Машеньку въ свѣтлоголубомъ платьѣ съ двухъ-аршиннымъ хвостомъ, которая слушаетъ и восхищается: „Ужасно я всякій стихъ люблю,

если складно". — „Стихи вздоръ-съ", возражаетъ Смердяковъ. — „Ахъ нѣтъ, я очень стишокъ люблю", ласкается Машенька.

Но тѣ, кто за этою сомнительною поэзіей не видитъ въ Горькомъ знаменательнаго явленія общественнаго, жизненнаго, — ошибаются еще гораздо больше тѣхъ, кто видитъ въ немъ великаго поэта. Въ произведеніяхъ Горькаго нѣтъ искусства; но въ нихъ есть то, что едва-ли менѣе цѣнно, чѣмъ самое высокое искусство: жизнь, правдивѣйшій подлинникъ жизни, кусокъ, вырванный изъ жизни съ тѣломъ и кровью. И, какъ во всемъ очень живомъ, подлинномъ, тутъ есть своя нечаянная красота, безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонниковъ чистаго искусства непріемлемая, но для любителей жизни обаятельная. Всѣ эти „бывшіе люди", похожіе на дьяволовъ въ рисункахъ великаго Гойя, — до ужаса реальны, если не внѣшнею, то внутреннею реальностью: пусть такихъ людей нѣтъ въ дѣйствительности, но они могутъ быть, они будутъ. Это вѣщія видѣнія вѣщей души. „Съ подлиннымъ души моей вѣрно", подписался Горькій подъ однимъ изъ своихъ произведеній и могъ бы подписаться подъ всѣми.

Чутье, какъ всегда, не обмануло толпу. Въ Горькомъ она обратила вниманіе на то, что въ высшей степени достойно вниманія. Можетъ-быть, не поняла, какъ слѣдуетъ, и даже поняла, какъ не слѣдуетъ, но если и преувеличила, то недаромъ: дыма было больше, чѣмъ огня; но былъ и огонь; тутъ, въ самомъ дѣлѣ, загорѣлось что-то опаснымъ огнемъ.

Горькій заслужилъ свою славу: онъ открылъ новыя, невѣдомыя страны, новый материкъ духовнаго міра; онъ первый и единственный, по всей вѣроятности, неповторимый въ своей области. При входѣ въ ту „страну тьмы и тѣни смертной", которая называется босячествомъ, навсегда останется начертаннымъ имя Горькаго.

Чеховъ—законный наслѣдникъ великой русской литературы. Если онъ получилъ не все наслѣдство, а только часть, то въ этой части сумѣлъ отдѣлить золото отъ постороннихъ примѣсей, и, великъ или малъ оставшійся слитокъ, но золото въ немъ такой чистоты, какъ ни у одного изъ прежнихъ, быть можетъ, болѣе великихъ, писателей, кромѣ Пушкина.

Отличительное свойство русской поэзіи — простоту, естественность, отсутствіе всякаго условнаго паѳоса и напряженія, то, что Гоголь называлъ *„безпорывностью* русской природы“,—Чеховъ довелъ до послѣднихъ возможныхъ предѣловъ, такъ что идти дальше некуда. Тутъ послѣдній великій художникъ русскаго слова сходится съ первымъ, конецъ русской литературы—съ ея началомъ, Чеховъ—съ Пушкинымъ.

Чеховъ проще Тургенева, который жертвуетъ иногда простотой красотѣ или красивости; проще Достоевскаго, который долженъ пройти послѣднюю сложность, чтобы достигнуть послѣдней простоты; проще Л. Толстого, который иногда слишкомъ старается быть простымъ.

Простота Чехова такова, что отъ нея порою становится жутко: кажется, еще шагъ по этому пути—и конецъ искусству, конецъ самой жизни; простота будетъ пустота — небытіе; такъ просто, что какъ будто и нѣтъ ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидѣть въ этомъ *почти ничего*—все.

Чеховъ никогда не возвышаетъ голоса. Ни одного лишняго, громкаго слова. Онъ говоритъ о самомъ святомъ и страшномъ такъ же просто, какъ о самомъ обыкновенномъ, житейскомъ; о любви и о смерти—такъ же спокойно, какъ о лучшемъ способѣ „закусывать рюмку водки соленымъ рыжикомъ“. Онъ всегда спокоенъ, или всегда кажется спокойнымъ. Чѣмъ внутри взволнованнѣе, тѣмъ снаружи спокойнѣе; чѣмъ сильнѣе чувство, тѣмъ тише слова. Безконечная сдержанность, безконечная стыдливость—та „возвышенная стыдливость страданія“, которую Тютчевъ замѣтилъ въ русской природѣ:

Ущербъ, изнеможенье и во всемъ
Та кроткая улыбка увяданья,
Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной стыдливостью страданья.

Говоря однажды о томъ, какъ слѣдуетъ описывать природу, Чеховъ замѣтилъ:

— Недавно я прочелъ одно гимназическое сочиненіе на тему—описаніе моря. Сочиненіе состояло изъ трехъ словъ: *„Море было большое“*. По моему, превосходно!

Всѣ описанія природы у Чехова напоминаютъ это сочиненіе изъ трехъ словъ. Чтобы, послѣ всего, что говорилось о морѣ, вспомнить самое первое и главное впечатлѣніе—простое величіе,—надо быть дикаремъ, ребенкомъ или геніальнымъ художникомъ. Глядя на природу, Чеховъ никогда не забываетъ, что „море было большое“.

Люди не видятъ главнаго въ себѣ и въ другихъ, потому что оно слишкомъ приглядѣлось, стало слишкомъ привычнымъ для глаза. Глазъ Чехова устроенъ такъ, что онъ всегда и во всемъ видитъ это *невидимое обыкновенное* и, вмѣстѣ съ тѣмъ, видитъ необычайность обыкновеннаго.

Умѣнье возвращаться отъ послѣдней сложности къ первой простотѣ ощущенія, къ его исходной точкѣ, къ самому простому, вѣрному и главному въ немъ—вотъ особенность чеховской, пушкинской и вообще русской *всеупрощающей* эстетики.

Отъ Гомера до декадентовъ, сколько потрачено великолѣпныхъ сравненій для описанія грозы. Вотъ какъ ее описываетъ Чеховъ:

„Налѣво, какъ будто кто чиркнулъ по небу спичкой, мелькнула блѣдная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, какъ гдѣ-то очень далеко кто-то прошелся по желѣзной крышѣ. Вѣроятно, по крышѣ шли босикомъ, потому что желѣзо проворчало глухо“.

Казалось бы, что можетъ-быть унизительнѣе для молніи сравненія съ чиркающей спичкой, и для грома—съ хожденіемъ босикомъ по желѣзной крышѣ? А между тѣмъ,

UNIVERSITY OF MICHIGAN

высокое здѣсь не только не унижается низкимъ, а еще болѣе возвышается; великое не умаляется малымъ, а еще болѣе возвеличивается.

И такъ всегда; чѣмъ поэтичнѣе природа, тѣмъ прозаичнѣе сравненія, которыми онъ ее описываетъ. Но въ глубинѣ прозы оказывается глубина поэзіи.

„Вечерняя степь прячется, какъ жиденята подъ одѣяломъ". Луна кажется „провинціальною"; звѣзды похожи на „новенькіе пятиалтынные"; береза—на „молоденькую стройную барышню"; облако—на „ножницы". Въ тишинѣ іюльскаго вечера одинокая птица поетъ, повторяя все однѣ и тѣ же двѣ-три ноты, какъ будто спрашиваетъ:—„Ты Никитку видѣлъ?"—и тотчасъ сама себѣ отвѣчаетъ:—„Видѣлъ, видѣлъ, видѣлъ!" Это простое звукоподражаніе сразу переноситъ въ родную, милую, какъ дѣтская спаленка, теплую, точно комнатную, уютность лѣтняго вечера въ русской деревнѣ.

Природа приближается къ человѣку, какъ будто вовлекается въ бытъ человѣка, становится простою, обыкновенною; но, какъ всегда у Чехова, — чѣмъ проще, тѣмъ таинственнѣе, — чѣмъ обыкновеннѣе, тѣмъ необычайнѣе.

И недаромъ вовлекаетъ онъ природу въ бытъ: именно здѣсь, въ бытѣ—главная сила его, какъ художника. Онъ—великій, можетъ-быть даже въ русской литературѣ величайшій, бытописатель. Если бы современная Россія исчезла съ лица земли, то по произведеніямъ Чехова можно было бы возстановить картину русскаго быта въ концѣ XIX вѣка въ мельчайшихъ подробностяхъ.

Тутъ, впрочемъ, не только сила, но и слабость его. Онъ знаетъ современный русскій бытъ, какъ никто; но, кромѣ этого быта, ничего не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ въ высшей степени національненъ, но не всемірenъ; въ высшей степени современенъ, но не историченъ. Чеховскій бытъ — одно настоящее, безъ прошлаго и будущаго, одно неподвижно застывшее мгновеніе, мертвая точка русской современности, безъ всякой связи со всемірною исторіей и всемірною культурою. Ни вѣковъ, ни народовъ—какъ будто

въ вѣчности есть только конецъ XIX вѣка и въ мірѣ есть только Россія. Безконечно зоркій и чуткій ко всему русскому, современному, онъ почти слѣпъ и глухъ къ чужому, прошлому. Онъ увидѣлъ Россію яснѣе, чѣмъ кто-либо, но проглядѣлъ Европу, проглядѣлъ міръ.

У чеховскихъ героевъ нѣтъ жизни, а есть только бытъ — бытъ безъ событій, или съ однимъ событіемъ — смертью, концомъ быта, концомъ бытія. Бытъ и смерть — вотъ два неподвижные полюса чеховскаго міра.

Снаружи этотъ бытъ кажется живымъ и крѣпкимъ, но онъ весь мертвъ и гнилъ внутри: довольно одного толчка, чтобы онъ разлетѣлся пылью, какъ тѣ истлѣвшія ткани, которыя находятъ въ гробахъ. Снаружи онъ кажется радужно яркимъ и пестрымъ, но это—зловѣщая радуга стоячихъ водъ и старыхъ стеколъ, годныхъ только на сломъ. И весь этотъ гнилой, отъ гнилости хрупкій бытъ виситъ въ пустотѣ надъ страшною пропастью на одной ниточкѣ; вотъ-вотъ порвется эта ниточка—и все провалится въ пропасть, разобьется въ дребезги. Какъ будто современная бытовая Россія передъ своимъ концомъ, — начало этого конца мы теперь уже видимъ, — захотѣла въ Чеховѣ оглянуться на себя въ послѣдній разъ. Весь улій новаго, а для насъ уже стараго, даже дряхлаго, послѣреформеннаго русскаго быта — еще цѣлъ, со всѣми своими восковыми перегородками, ячейками, сотами; но медъ въ этихъ сотахъ превратился въ полынь, сладость жизни — въ горечь смерти, веселость быта—въ скуку небытія. Какъ изъ старыхъ, давно неотпиравшихся шкаповъ—удушливой затхлостью, такъ изъ чеховскаго быта вѣетъ скукою.

Иногда тяжело больной, лежа въ постели, разсматриваетъ долго и пристально, какъ будто съ любопытствомъ, опостылѣвшій до тошноты узоръ обоевъ на стѣнѣ и видитъ въ этомъ узорѣ такія подробности, какихъ ни за что не увидитъ здоровый: такова четкость быта у Чехова; въ ней— тошнота и скука бреда. „Скучно, скучно“ — тихо стонетъ больной, и страшнѣе буйнаго отчаянія эта тихая скука.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Скука, унынiе — вотъ главная и, въ сущности, единственная страсть всѣхъ чеховскихъ героевъ, именно *страсть*, потому что унынiе, по глубокому наблюденiю христiанскихъ подвижниковъ,—тоже „страсть“, и притомъ, одна изъ самыхъ жадныхъ страстей. Какъ пьютъ вино запоемъ, такъ чеховскiе герои запоемъ скучаютъ.

Почтальонъ, трясущiйся на перекладныхъ, врачъ уѣздной больницы, сынъ министра и революцiонеръ, который хочетъ убить этого министра, недоучившiйся гимназистъ-подростокъ, который ни съ того, ни съ сего пускаетъ себѣ пулю въ лобъ, старый профессоръ, бродяга-ссыльный въ Сибири, провинцiальная актриса — добрые и злые, умные и глупые, счастливые и несчастные — всѣ состоянiя, всѣ сословiя, всѣ возрасты предаются этой страсти унынiя. Въ большихъ городахъ и въ захолустныхъ городишкахъ, и въ деревняхъ, и на одинокихъ полустанкахъ, и въ разорившихся дворянскихъ гнѣздахъ, и на фабрикахъ, и въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, и въ монастыряхъ, и въ домахъ терпимости, и въ кабинетахъ ученыхъ — вездѣ унынiе. Какая-то метафизическая скука, чувство безпредѣльной пустоты, ненужности, ничтожности всего. „Русскiй человѣкъ не любитъ жить“ — вотъ изумительное открытiе Чехова. Кажется, не только русскiй человѣкъ, но и русская природа не любитъ жить.

„Утро было нехорошее, пасмурное... Кто-то за березами игралъ на самодѣлковой пастушеской свирѣли. Игрокъ бралъ не больше пяти-шести нотъ, лѣниво тянулъ ихъ, не стараясь связать ихъ въ мотивъ, но, тѣмъ не менѣе, въ его пискѣ слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое“. Играетъ старый пастухъ, Лука Бѣдный. „Все къ одному клонится,—говоритъ Лука,—добра не жди... Все къ худу, надо думать, къ гибели... Пришла пора Божьему мiру погибать... И солнце, и небо, и лѣса, и рѣки, и твари — все вѣдь это сотворено, приспособлено, другъ къ дружкѣ прилажено. И всему этому пропадать надо! Жалко. И, Боже, какъ жалко!“ „Чувствовалась близость того несчастнаго,

ничѣмъ не предотвратимаго времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнѣе, и по стволу ея ползутъ слезы, и лишь одни журавли уходятъ отъ общей бѣды, да и тѣ, боясь оскорбить унылую природу выраженіемъ своего счастія, оглашаютъ поднебесье грустной, тоскливой пѣсней... Замирали звуки свирѣли. Самая высокая нотка пронеслась протяжно въ воздухѣ и задрожала, какъ голосъ плачущаго человѣка... оборвалась,—и свирѣль смолкла.

Эта пронзительно-унылая свирѣль Луки Бѣднаго — не самого-ли Антона Бѣднаго, Антона Чехова? — предчувствіе всеобщаго конца, всемірной погибели — основной напѣвъ, Leitmotiv чеховской музыки.

Иногда, въ мертвомъ затишьѣ передъ грозой, одна только птица поетъ, словно стонетъ, уныло, уныло и жалобно: такова пѣсня Чехова.

Мы теперь уже вышли изъ этого предгрознаго затишья—изъ чеховской скуки; мы уже видимъ грозу, которую онъ предсказывалъ: „Надвигается на всѣхъ громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идетъ, уже близка и скоро сдуетъ съ нашего общества лѣнь, равнодушіе, гнилую скуку.“ („Три сестры“). Чехову было скучно и страшно; намъ теперь страшно и весело. Наконецъ-то, гроза! Наконецъ, „началось“, сорвалось, полетѣло — все кругомъ летитъ, летимъ и мы, вверхъ или внизъ, къ Богу или къ чорту,—не знаемъ пока, боимся узнать, но, во всякомъ случаѣ, летимъ, не остановимся, — и слава Богу! Кончился *бытъ*, начались *событія*.

Но какова бы ни была сила бури, которая смететъ чеховскій бытъ, — мы никогда не забудемъ — на темнотѣ грозовой тучи бѣлую чайку съ ея жалобно-вѣщимъ крикомъ. Каковъ бы ни былъ ужасъ конца, мы никогда не забудемъ пронзительно-унылую свирѣль Антона Бѣднаго, которая напророчила этотъ конецъ.

„Есть Богъ или нѣтъ“ — этотъ вопросъ Ивана Карамазова Чорту, вопросъ о бытіи Бога и объ отношеніи человѣка къ Богу, есть главная тема русской литературы, поскольку отразилась въ ней глубина русской народной стихіи и высота русскаго культурнаго сознанія. Но вѣчная середина — русская интеллигенція — отвергла тему о Богѣ и рядомъ съ великою литературою, всенародною и всемірною (Гоголь, Л. Толстой, Достоевскій), создала свою собственную литературу сословно-интеллигентскую (Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ и др.). Не вопросъ о Богѣ и объ отношеніи человѣка къ Богу, а вопросъ о человѣкѣ, только человѣкѣ, объ отношеніи человѣка къ человѣку, помимо Бога, безъ Бога и, наконецъ, противъ Бога — вотъ главная тема этой литературы.

Всю тяжесть обвиненія за отсутствіе религіознаго сознанія сваливать на русскую интеллигенцію было бы несправедливо. Исторія европейской государственности вообще и русской въ частности установила слишкомъ тѣсную, почти неразрывную связь между религіозными, въ особенности „христіанскими“ идеями, съ одной стороны и, самыми грубыми формами общественной неправды и политическаго гнета, — съ другой. Религія и реакція сдѣлались почти неразличимыми синонимами. Кажется, довольно произнести слово Богъ, чтобы многоголосное эхо въ вѣкахъ и народахъ отвѣтило: гнетъ. Это кощунственное превращеніе имени Божьяго въ главную гайку, которою привинчиваются къ духу и плоти такъ называемаго „христіанскаго“ человѣчества всевозможныя колодки, кандалы и другія, болѣе или менѣе усовершенствованныя орудія порабощенія есть одно изъ величайшихъ всемірно-историческихъ преступленій. Но ежели нельзя обвинять русскую интеллигенцію, то не слѣдуетъ и потворствовать ей въ этомъ невольномъ заблужденіи. Давно пора обличить эту людьми освященную, Богомъ проклятую связь христіанства съ политическимъ произволомъ, ученія истины и свободы — съ ученіемъ лжи и насилія.

Какъ бы то ни было, но „религія человѣчества“ безъ

Бога, религія человѣчества, только человѣчества всегда была и есть донынѣ безсознательная религія русской интеллигенціи.

Чеховъ и Горькій — первые сознательные учителя и пророки этой религіи.

„Человѣкъ — вотъ правда. Въ этомъ — всѣ начала и концы. Все въ человѣкѣ, все для человѣка. Существуетъ только человѣкъ". — „Истинный Шекинахъ (Богъ) есть человѣкъ".

Таково исповѣданіе Горькаго. А вотъ оно же у Чехова:

„Человѣкъ долженъ сознавать себя выше львовъ, тигровъ, звѣздъ, выше всего въ природѣ, даже выше того, что непонятно и кажется чудеснымъ".—„Мы высшія существа и, если-бы въ самомъ дѣлѣ мы познали всю силу человѣческаго генія, мы стали бы какъ боги".

Въ обоихъ исповѣданіяхъ есть недосказанность: ежели „существуетъ только человѣкъ", ежели человѣкъ самъ для себя единственная правда, единственный Богъ, что такое Богъ внѣ человѣка? На этотъ вопросъ у Чехова и Горькаго отвѣта нѣтъ, — не потому ли, что онъ слишкомъ ясенъ?

Чтобы человѣкъ сталъ „Богомъ", надо, чтобы онъ понялъ, что нѣтъ иного Бога, кромѣ человѣка, надо уничтожить въ человѣкѣ идею о Богѣ. Отвергая христіанскую идею Богочеловѣчества, единственно возможный синтезъ религіозной идеи человѣчества съ идеей Божества, религія человѣчества, только человѣчества, доведенная до конца своего, становится въ непримиримое противорѣчіе съ идеей о Богѣ: каждая изъ этихъ двухъ идей, для того чтобы существовать должна истребить другую. Пока еще мало сознанное, но метафизически неизбѣжное завершеніе религіи человѣчества есть не только атеизмъ, но антитеизмъ, не только безбожіе, но и противобожіе, дѣятельное богоборчество.

„Надо разрушить въ человѣчествѣ идею о Богѣ, вотъ съ чего надо приняться за дѣло, — напоминаетъ Чортъ Ивану Карамазову его же собственныя мысли. — Разъ человѣчество отречется поголовно отъ Бога, то наступитъ все

UNIVERSITY OF MICHIGAN

новое... Человѣкъ возвеличится духомъ божеской, титанической гордости, и явится Человѣкобогъ".

Изъ этой посылки умнаго Ивана дѣлаетъ выводъ безумный Кириловъ:

„Для меня непонятно, какъ можно сказать: нѣтъ Бога, — чтобы въ ту же минуту не сказать: я — Богъ".

Человѣчества — безъ Бога, человѣчество — противъ Бога, человѣчество — Богъ, человѣкъ — Богъ, я — Богъ, — вотъ рядъ посылокъ и выводовъ, рядъ ступеней, образующихъ пока еще темную для сознанія русской интеллигенціи, метафизическую лѣстницу, которая ведетъ неминуемо отъ религіи человѣчества къ религіи человѣкобожества.

Внизу этой лѣстницы—чеховскій интеллигентъ; вверху— горьковскій босякъ. Между ними рядъ ступеней, которыхъ еще не видитъ, но по которымъ уже идетъ русская интеллигенція.

II

„Я собралъ бы остатки моей истерзанной души и вмѣстѣ съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожи нашей интеллигенціи, чортъ ее побери! Я бъ имъ сказалъ: о, гниды!.." — говоритъ у Горькаго босякъ, мечтающій сдѣлаться великимъ писателемъ.

„До судорогъ противна мнѣ была эта публика, — говоритъ другой босякъ, бывшій актеръ, — и часто мнѣ хотѣлось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами... Какъ бы хорошо имѣть въ рукѣ такой длинный ножъ, чтобъ имъ сразу, всему первому ряду зрителей, носы срѣзать... Чортъ бы всѣхъ ихъ взялъ!.."

Должно отдать справедливость Горькому: ежели русская интеллигенція обманулась въ босякѣ, то она не была обманута Горькимъ; онъ сказалъ всю, или почти всю правду, которую видѣлъ самъ.

И тѣмъ не менѣе:

„Мы смотримъ на босяка, любуемся на него, удивляемся ему", говоритъ одинъ восторженный критикъ, и въ этихъ словахъ — крикъ сердца всей русской интеллигенціи.

Какъ же объяснить эту любовь, или, вѣрнѣе, влюбленность? Чѣмъ, собственно, плѣнилъ босякъ русскую интеллигенцію?

Прежде всего тутъ, конечно, сочувствіе политическое. Босякъ, не столько по внутреннему содержанію своему, сколько по революціонной внѣшности, казался естественнымъ союзникомъ въ самомъ святомъ, нужномъ и великомъ дѣлѣ русской интеллигенціи, въ дѣлѣ политическаго освобожденія.

Ежели въ босячествѣ дѣйствительно скрывается стихійная мятежность, огненный взрывъ человѣческой личности, безсознательный протестъ противъ общественнаго гнета, который всѣхъ насъ одинаково давитъ, то, разумѣется, такой протестъ, откуда бы ни шелъ, заслуживаетъ сочувствія. Кто бы и какой бы цѣной ни помогалъ намъ, только бы помогли! Бываютъ такія минуты, когда человѣку съ петлей на шеѣ некогда разбирать, чьи руки срываютъ эту петлю. Босякъ, такъ босякъ! Кажется, не только босяку, мы и чорту были бы рады!

Къ сожалѣнію, событія послѣдняго времени показываютъ, что надежды русской интеллигенціи на дѣятельную роль босяка въ освободительномъ движеніи преувеличены, и что провести черту, которая отдѣлила бы босячество отъ хулиганства, довольно трудно. О босякѣ никогда нельзя знать, да онъ и самъ не знаетъ сегодня, что съ нимъ будетъ завтра и чѣмъ онъ окажется, случайнымъ-ли союзникомъ русской интеллигенціи или патріотическимъ героемъ черной сотни, избивающей эту же самую интеллигенцію. Въ чемъ другомъ, а въ тактическомъ общественномъ дѣйствіи отъ босяка мало корысти.

Корысти, впрочемъ, никогда и не было въ непосредственномъ чувствѣ русской интеллигенціи къ босяку. По-

UNIVERSITY OF MICHIGAN

литическое сродство тутъ только внѣшность, за которою скрывается гораздо болѣе глубокое, внутреннее и первоначальное *сродство метафизическое.*

Откуда явился босякъ?

Великая заслуга Горькаго въ томъ, что онъ сумѣлъ не поддаться легкому соблазну объяснить босячество исключительно внѣшними соціально-экономическими условіями.

„Тебѣ не въ чемъ винить себя... тебя обидѣли", говоритъ интеллигентъ босяку, доказывая, что онъ, босякъ, „существо, длиннымъ рядомъ историческихъ несправедливостей сведенное на степень соціальнаго нуля".

„Во мнѣ самомъ что-то неладно, — возражаетъ босякъ интеллигенту. — Не такъ я, значитъ, родился, какъ человѣку это слѣдуетъ... Я на особой стезѣ. И не одинъ я. Много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди и ни въ какой порядокъ не включаемся... *Кто передъ нами виноватъ? Сами мы передъ собой и жизнью виноваты*".

„И чѣмъ упорнѣе, — признается интеллигентъ, — я старался доказать ему, что онъ — „жертва среды и условій", тѣмъ настойчивѣе онъ убѣждалъ меня въ своей виновности передъ самимъ собою и жизнью".

— „Каждый человѣкъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ неповиненъ, ежели я подлецъ есть"... „Я есть заразный человѣка... Несчастный этакій, ядовитый духъ изъ меня исходитъ. И какъ я близко къ человѣку подойду, такъ сейчасъ онъ отъ меня и заражается... Тлѣющій я человѣкъ... Подумай, вѣдь я хуже холернаго!"

Босякъ не только не сознаетъ себя жертвою „общественной среды и условій", а, напротивъ, сознаетъ, что эта среда и эти условія могутъ сдѣлаться жертвою „заразнаго духа" — тлѣнія и смерти, которыя онъ носитъ въ себѣ.

Кромѣ босячества внѣшняго, соціально-экономическаго, есть *босячество внутреннее*, психологическое — послѣдній предѣлъ нигилизма, послѣдняя обнаженность, нагота и нищета духовная. И вовсе не потому человѣкъ доходитъ до внутренняго босячества, что онъ раньше сдѣлался

жертвой внѣшнихъ соціальныхъ условій, очутился „на днѣ“, а какъ разъ наоборотъ: потому-то онъ и очутился „на днѣ“, что дошелъ до внутренняго босячества. Не внутреннее босячество отъ внѣшняго, а внѣшнее отъ внутренняго.

Достоевскій не имѣлъ никакого вліянія на Горькаго. Босяка своего взялъ Горькій прямо изъ жизни. Тѣмъ болѣе поразительны психологическія совпаденія горьковскихъ босяковъ и нѣкоторыхъ героевъ Достоевскаго.

Въ *Дневникѣ Писателя* отъ 1873 года, по поводу двухъ мужиковъ, которые, заспоривъ, „кто кого дерзостнѣе сдѣлаетъ“, стрѣляли изъ ружья въ Причастіе, Достоевскій говоритъ объ одной свойственной, будто бы, всему русскому народу, психологической особенности:

„Это — потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее на половину, заглянуть въ самую бездну — и въ частныхъ случаяхъ, но весьма нерѣдкихъ — броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой. Это — потребность отрицанія въ человѣкѣ, иногда самомъ неотрицающемъ, и благоговѣющемъ, отрицанія всего, самой главной святыни сердца своего, самаго полнаго идеала своего, всей народной святыни во всей ея полнотѣ, передъ которой сейчасъ лишь благоговѣлъ и которая вдругъ какъ будто стала ему невыносимымъ какимъ-то бременемъ. — Иногда тутъ просто нѣтъ удержу. Любовь-ли, вино-ли, разгулъ, самолюбіе, зависть — тутъ иной русскій человѣкъ отдается почти беззавѣтно, готовъ порвать все, отречься отъ всего — отъ семьи, обычая, Бога. Иной добрѣйшій человѣкъ какъ-то вдругъ можетъ сдѣлаться омерзительнѣйшимъ безобразникомъ и преступникомъ, стоитъ только попасть ему въ этотъ вирхь, роковой круговоротъ судорожнаго и моментальнаго самоотрицанія, такъ свойственный русскому характеру въ иныя роковыя минуты его жизни“.

Вотъ не только психологія, но и метафизика, отчасти даже мистика босячества — въ народѣ. А вотъ то же самое —

UNIVERSITY OF MICHIGAN

въ русскомъ интеллигентѣ — въ „Подпольномъ человѣкѣ". Что у Горькаго — „На днѣ", то у Достоевскаго — „Подполье": и то, и другое — прежде всего, не внѣшнее, соціально-экономическое положеніе, а внутреннее, психологическое состояніе.

Бунтъ „подполнаго человѣка" есть бунтъ не только противъ какого бы то ни было общественнаго, но и противъ всего мірового порядка — противъ законовъ природы, законовъ естественной необходимости и, наконецъ, законовъ собственнаго разума. *Человѣческій, только человѣческій* разумъ, отказываясь отъ единственно возможнаго утвержденія абсолютной свободы и абсолютнаго бытія человѣческой личности—*въ Богѣ*, тѣмъ самымъ утверждаетъ абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности въ міровомъ порядкѣ, дѣлаетъ ее слѣпымъ орудіемъ слѣпой необходимости — „фортепіанною клавишей или органнымъ штифтикомъ", на которомъ играютъ законы природы, чтобы, поигравъ, уничтожить. Но человѣкъ не можетъ примириться съ этимъ уничтоженіемъ. И вотъ, для того, чтобы утвердить, *во что бы то ни стало*, свою абсолютную свободу и абсолютное бытіе, онъ принужденъ отрицать то, что ихъ отрицаетъ — то-есть, міровой порядокъ, законы естественной необходимости и, наконецъ, законы собственнаго разума. Спасая свое человѣческое достоинство, человѣкъ бѣжитъ отъ разума въ безуміе, отъ мірового порядка въ „разрушеніе и хаосъ".

„Ежели,—разсуждаетъ „подпольный человѣкъ",—когда-нибудь наступитъ на землѣ окончательное торжество разума, которое дастъ человѣчеству благополучіе, разсчитанное „по табличкѣ логариѳмовъ", то непремѣнно возникнетъ какой-нибудь джентельменъ, съ насмѣшливою физіономіей, упретъ руки въ боки и скажетъ всѣмъ: а что, господа, не столкнуть-ли намъ все это благоразуміе съ одного разу ногой прахомъ, единственно съ тою цѣлью, чтобъ всѣ эти логариѳмы отправились къ чорту и чтобъ намъ опять по своей глупой волѣ пожить! Это бы еще ничего, но обидно то,

что непремѣнно послѣдователей найдетъ: такъ человѣкъ устроенъ... Осыпьте его всѣми земными благами, дайте ему такое экономическое довольство, чтобъ ему совсѣмъ ужъ ничего больше не оставалось дѣлать, кромѣ какъ спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращеніи всемірной исторіи, такъ онъ вамъ и тутъ, человѣкъ-то, и тутъ, изъ одной неблагодарности, изъ одного пасквиля мерзость сдѣлаетъ. Рискнетъ даже пряниками и нарочно пожелаетъ самаго пагубнаго вздора, самой неэкономической безсмыслицы, единственно для того, что-бы самому себѣ подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепіанныя клавиши... Да вѣдь мало того: даже въ томъ случаѣ, если онъ дѣйствительно бы оказался фортепіанною клавишей, еслибъ это доказать ему даже естественными науками и математически, такъ и тутъ не образумится... Выдумаетъ разрушеніе и хаосъ, проклятіе пуститъ по свѣту... Если вы скажете, что и это все можно разсчитать по табличкѣ — и хаосъ, и мракъ, и проклятіе — такъ что ужъ одна возможность предварительнаго расчета все остановитъ и разсудокъ возьметъ свое, — такъ человѣкъ нарочно сумасшедшимъ на этотъ случай сдѣлается, чтобъ не имѣть разсудка и настоять на своемъ. Я вѣрю въ это, я отвѣчаю за это, потому что вѣдь все дѣло-то человѣческое, кажется, и дѣйствительно въ томъ только и состоитъ, чтобъ человѣкъ поминутно доказывалъ себѣ, что онъ человѣкъ, а не штифтикъ! Хоть своими боками, да доказывалъ; хоть троглодитствомъ — доказывалъ".

„Троглодитствомъ", или *босячествомъ*.

Таковъ метафизическій и, можетъ-быть, даже мистическій предѣлъ интеллигентнаго „подполья" и босяцкаго „дна". Ежели интеллигентъ, отказавшійся отъ религіи, пока еще не видитъ этого предѣла и можетъ сомнѣваться, идетъ ли онъ *туда же*, куда „подпольный человѣкъ" и босякъ, то уже нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ идетъ *оттуда же*.

Механическое міросозерцаніе, то-есть, утвержденіе, какъ единственно реальнаго, того мірового порядка, который от-

рицаетъ абсолютную свободу и абсолютное бытіе человѣческой личности въ Богѣ, и который дѣлаетъ изъ человѣка „фортепіанную клавишу“ или „органный штифтикъ“ слѣпыхъ силъ природы, — вотъ общая метафизическая исходная точка интеллигента и босяка.

„Существуютъ законы и силы, — говоритъ одинъ изъ босяковъ Горькаго. — Какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Очень просто. Значитъ, живи и не кобенься, а то сейчасъ же разрушитъ въ прахъ сила“. — „Значитъ, человѣку некуда податься?“ — „Ни на вершокъ!.. *Никому ничего неизвѣстно... Тьма!*“

Это вѣдь и есть научное—ignoramus, не знаемъ,—спустившеся до босяцкаго „дна“. И здѣсь, „на днѣ“, оно будетъ имѣть точно такія же послѣдствія, какъ тамъ, на интеллигентной поверхности.

Прежде всего — выводъ: нѣтъ Бога; или, вѣрнѣе: человѣку нѣтъ никакого дѣла до Бога, между человѣкомъ и Богомъ нѣтъ соединенія, связи, религіи, ибо *religio* и значитъ *связь* человѣка съ Богомъ.

„Я видѣлъ небо, — тамъ только пусто. Я знаю правду: земли творенье, землей живу я“, запѣваетъ въ „Пѣснѣ о соколѣ“ летающій въ небѣ, романтическій босякъ. „А съ земли, кромѣ какъ въ землю, никуда не соскочишь“, кончаетъ пѣсню босякъ реалистическій, стоящій на землѣ. Земная жизнь безцѣльна: „Кто скажетъ, зачѣмъ онъ живетъ? Никто не скажетъ. И спрашивать про это не надо. Живи, и все тутъ. И похаживай, и посматривай“... Жизнь не только безцѣльна, но и безсмысленна, потому-что кончается смертью — уничтоженіемъ: „Ничего *тамъ* не будетъ, ничего... Спокой — и больше ничего!“ напутствуетъ умирающую старецъ Лука, учитель босячества.

Этотъ догматическій позитивизмъ (потому-что у позитивизма есть тоже своя догматика, своя метафизика и даже своя мистика) неизбѣжно приводитъ къ догматическому матеріализму:

„Брюхо въ человѣкѣ — главное дѣло. А какъ брюхо спокойно, значитъ, и душа жива, — всякое дѣяніе человѣческое отъ брюха происходитъ".

Утилитарная нравственность — только переходная ступень, на которой нельзя остановиться между старою метафизическою моралью и тѣмъ крайнимъ, но неизбѣжнымъ выводомъ, который дѣлаетъ Ницше изъ позитивизма, — откровеннымъ *аморализмомъ*, отрицаніемъ всякой человѣческой нравственности. Интеллигентъ не сдѣлалъ этого крайняго вывода потому, что былъ удержанъ отъ него безсознательными пережитками метафизическаго идеализма. Босяка уже ничто не удерживаетъ; и въ этомъ отношеніи, такъ же какъ во многихъ другихъ, онъ опередилъ интеллигента: босякъ откровенный и почти сознательный аморалистъ.

„Я со временъ младыхъ ногтей моихъ морали терпѣть не могъ... Зубы моей совѣсти никогда у меня не болѣли". — „Знаете вы, что такое идеалъ? Это просто костыль, придуманный въ ту пору, когда человѣкъ сталъ плохимъ скотомъ и началъ ходить на однѣхъ заднихъ ногахъ".

Идеалы отвлеченнаго гуманизма, философскаго человѣколюбія — подогрѣтое блюдо XVIII вѣка, которымъ, въ сущности, донынѣ питается русская ртеллигеиція — возбуждаютъ въ босякѣ чувство наибольшей брезгливости.

„Вы пишете разныя статьи, человѣколюбіе всѣмъ совѣтуете и прочее такое... а я все читаю... И противно мнѣ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова безстыжія".

„Скажи, какъ по-твоему жить надо? Чего ты хочешь? — спрашиваетъ старикъ Маякинъ, богатый купецъ по соціальному положенію, а по душѣ тотъ же босякъ, свою дочь, интеллигентную барышню, начитавшуюся умныхъ книжекъ. — „Чтобы всѣ были счастливы... и довольны... и всѣ люди равны... во всемъ равенство",—лепечетъ барышня.—„Такъ я и зналъ: позлащенная дура ты! — рѣшаетъ старикъ—Какъ могутъ быть всѣ счастливы и равны, если каждый хочетъ

выше другого быть?.. Никогда человѣкъ человѣку не уступитъ, — дураки только это думаютъ. У каждаго душа своя и лицо свое. Только тѣхъ, кто души своей не любитъ и лица не бережетъ, можно обтесать подъ одну мѣрку... Эхъ ты!.. Начиталась, нажралась дряни!"

Вѣроятно, въ эту минуту у стараго купца Маякина точно такая же „насмѣшливая физіономія", какъ у того „неблагодарнаго джентльмена", который, по мнѣнію подпольнаго человѣка, непремѣнно возникнетъ въ будущемъ „хрустальномъ дворцѣ" и посовѣтуетъ людямъ „столкнуть съ одного разу ногой прахомъ все это благоразуміе".

Но не отвлеченное философское человѣколюбіе, а живая религіозная жалость, милосердіе къ людямъ — босяку всего ненавистнѣе.

— „Человѣка жалко!

— „Да онъ кто тебѣ, человѣкъ-то? Понимаешь ты это? Онъ вотъ поймаетъ тебя за шиворотъ, да и какъ блоху подъ ноготь! Въ ту пору ты его и пожалѣй... да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Онъ тебя за твою жалость семью муками измучитъ. Кишки всѣ твои на руку себѣ навертитъ, по вершку въ часъ всѣ жилы изъ тебя вытянетъ... Ахъ ты... жалость! А ты моли Бога, чтобы безъ всякой жалости, просто прикокнули тебя и шабашъ!.. Жалость — тьфу!.."

Горькій называетъ эти страшныя слова „суровыми и вѣрными" Положеніе такъ называемой „христіанской" жалости въ мірѣ таково, что, дѣйствительно, нелегко опровергнуть правду этихъ словъ.

„Жалѣть я тебя не могу, — говоритъ босякъ Артемъ еврею Каину. — Нѣтъ у меня жалости къ тебѣ и ни къ кому нѣтъ. Противно мнѣ это... Не мое это дѣло... Все я только ломалъ себя, притворялся больше. Думалъ, жалѣю, анъ выходитъ — такъ это, одинъ обманъ. Совсѣмъ я не могу жалѣть!"

Иногда кажется, что босяки Горькаго читали философа Нитше, хотя и въ дешевомъ, не совсѣмъ грамотномъ рус-

скомъ переводѣ, но поняли въ немъ все-таки больше, чѣмъ русскіе интеллигенты. Иногда хочется даже спросить: узналъ-ли бы самъ Нитше своего сумеречнаго Діониса или солнечнаго Аполлона въ какомъ-нибудь чудовищномъ Кувалдѣ или Пляши-Ногѣ, „оборванномъ, исцарапанномъ, черномъ, какъ сатана?“ Если бы, впрочемъ, и не узналъ, побрезгалъ бы ими, то ужъ они-то, всѣ эти такъ еще недавно родившіеся, такъ уже безчисленно кишащіе сверхчеловѣки, сверхчеловѣчки, узнали бы отца своего и съ полнымъ правомъ сказали бы ему: полюбилъ ты насъ бѣленькими, полюби и черненькими! Или, какъ менѣе брезгливый, чѣмъ Нитше, старецъ Лука говоритъ:

„Я и жуликовъ уважаю... По моему, ни одна блоха не плоха. Всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ!“

Босяки Горькаго, несмотря на свою демократическую внѣшность, внутренніе аристократы. Простой народъ для нихъ чернь. Мужика ненавидятъ и презираютъ они едвали не больше, чѣмъ барина.

„Я всѣхъ мужиковъ не люблю — они сволочи! Они прикинулись сиротами, ноютъ да притворяются, но жить могутъ: у нихъ есть зацѣпка — земля. А я что противъ нихъ?.. Я — мѣщанинъ... За меня никого нѣтъ въ заступникахъ.“ — „А мужика бы, этого черноземнаго барина, ухъ ты!.. грабь, дери шкуру, выворачивай наизнанку!..“ — „Что есть мужикъ? Мужикъ есть для всѣхъ людей матеріалъ питательный, сирѣчь, съѣдобное животное“.

Ненависть босяка къ народу кажется только сословною, соціально-экономическою; но, можетъ-быть, босякъ самъ еще не понимаетъ, за что ненавидитъ народъ.

Некрасовскій дядя Власъ, бывшій кулакъ, то-есть, бывшій *внутренній* босякъ, хотя и другого, стараго типа, обратившись къ Богу, „роздалъ все свое имѣніе, самъ остался *босъ* и голъ,“ — сдѣлался *внѣшнимъ* босякомъ, сравнялся по соціально-экономическому положенію съ босяками Горькаго. Но какая разница между босымъ дядей Власомъ и босымъ Пляши-Ногою!

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Между интеллигентомъ, и босякомъ, при взаимномъ соціально-экономическомъ отталкиваніи, существуетъ метафизическое сродство, притяженіе — одна и та же, какъ мы видѣли, „позитивная догматика“; между босякомъ и народомъ — какъ разъ наоборотъ: при соціально-экономическомъ притяженіи — взаимное метафизическое и даже мистическое отталкиваніе. Все, во что вѣритъ мужикъ, дядя Власъ, — кажется босяку, полуинтеллигентному „мѣщанину“, просто невѣжествомъ и глупостью — „про неправду все написано“, какъ говоритъ Смердяковъ. А если бы дядя Власъ могъ понять, что̀ думаетъ босякъ, то отшатнулся бы отъ него съ такимъ же суевѣрнымъ ужасомъ, какъ отъ „шестокрылатаго тигра, зміевъ и скорпіевъ“.

Босякъ ненавидитъ народъ, потому что народъ—крестьянство—все еще безсознательное *христіанство,* пока старое, слѣпое, темное—религія Бога, только Бога, безъ человѣчества, но съ возможностью путей и къ новому христіанству, зрячему, свѣтлому, — къ сознательной религіи Богочеловѣчества. Послѣдняя же сущность босячества — *антихристіанство,* пока еще тоже старое, слѣпое, темное — религія человѣчества, только человѣчества, безъ Бога, — но съ возможностью путей къ новому, зрячему, сознательному антихристіанству — къ религіи человѣкобо̀жества.

— „Безбожные вы всѣ люди... Звѣри вы!.. Бѣжать отъ васъ—одно спасеніе. Есть иные люди, живы души ихъ во Христѣ,—къ нимъ уйду!“—говоритъ сынъ отцу, христіанинъ босяку. — „Мертвечина ты, стерва тухлая! — отвѣчаетъ отецъ сыну, босякъ христіанину. — Кабы ты здоровъ былъ, хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нѣтъ. Жалко тебя, кикимору несчастную!“.

Тутъ между отцомъ и сыномъ трагедія личная. Но смыслъ трагедіи — послѣдній отвѣтъ босяка христіанину — вовсе не личный. Если не въ настоящемъ, то въ будущемъ, когда борьба сдѣлается сознательной, это отвѣтъ всего босячества всему христіанству.

„Человѣкъ — вотъ правда Въ этомъ всѣ начала и концы. Все—въ человѣкѣ, все—для человѣка. *Существуетъ только человѣкъ*“.—„*Истинный Шекинахъ* (Богъ) *есть человѣкъ*“. Человѣкъ есть Богъ — таково религіозное исповѣданіе сознательнаго босячества.

Сознательное христіанство есть религія Бога, который сталъ Человѣкомъ; сознательное босячество, антихристіанство, есть религія человѣка, который хочетъ стать Богомъ. Это послѣднее, конечно, обманъ. Вѣдь исходная точка босячества — „существуетъ *только* человѣкъ“, нѣтъ Бога, Богъ—ничто; а слѣдовательно, „человѣкъ—Богъ“ значитъ: человѣкъ — ничто. Мнимое обожествленіе приводитъ къ дѣйствительному уничтоженію человѣка.

Какъ бы то ни было, во имя этого обмана или этой религіи, босякъ хочетъ быть творцомъ.

— „Вотъ я соберу людей воедино и выведу ихъ въ пустыню и тамъ устрою имъ будку всеобщаго спасенія... Я одинъ стану надъ всѣми ими и научу ихъ всему, что знаю... Среди насъ будетъ возвышаться надъ всѣми будка всеобщаго спасенія, и на вершинѣ ея, подъ стекляннымъ колпакомъ, буду вѣчно вращаться я самъ и смотрѣть за порядкомъ. Я буду строгъ, но не по-человѣчески справедливъ. Я наложу на всѣхъ одну обязанность — *творить*. Твори, ибо ты человѣкъ!—прикажу я каждому“.— „Ромулъ и Ремъ, босяки, создали Римъ. И мы создадимъ!“

Но спрашивается: какое же творчество, когда, по признанію самого творца, „существуютъ только законы и силы“, которымъ „невозможно противиться“? Какая же свобода, когда „человѣку некуда податься ни на вершокъ“, потому что „ничего неизвѣстно—тьма“? Тьма въ началѣ, и въ концѣ тьма, то-есть, слѣпое рабство слѣпымъ законамъ необходимости, мертвой механикѣ мірового порядка. Человѣку надо выбрать одно изъ двухъ: или отказаться отъ всякаго творчества, примириться съ тѣмъ, что всегда онъ былъ и будетъ не *творецъ*, а *тварь*; или же, окончательно возмутившись противъ мірового порядка, бѣжать въ „разрушеніе

UNIVERSITY OF MICHIGAN

и хаосъ", какъ выражается подпольный человѣкъ Достоевскаго — „столкнуть съ одного разу ногой прахомъ хрустальный дворецъ всеобщаго благополучія", вмѣстѣ съ босяцкою „будкою всеобщаго спасенія". А если такъ, то зачѣмъ и творить? Можно разрушать для творчества, но какъ творить для разрушенія?

Босякъ, впрочемъ, и самъ предчувствуетъ, что именно здѣсь, въ творчествѣ, ждетъ его какое-то послѣднее крушеніе.

„Мнѣ тѣсно,—говоритъ онъ, — стало быть, долженъ я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать... А какъ? Вотъ тутъ мнѣ и петля... Не понимаю я этого — и *тутъ мнѣ конецъ!*"

„Дайте людямъ полную свободу,—тогда воспослѣдуетъ такая комедія: почуявъ, что узда съ него снята, зарвется человѣкъ выше своихъ ушей и перомъ полетитъ туда и сюда. Чудотворцемъ себя возомнитъ и начнетъ онъ тогда духъ свой испущать... А духа этого самаго строительнаго совсѣмъ въ немъ малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорщится во всѣ стороны и въ скорости ослабнетъ, бѣдненькій! Сердцевина-то гнилая въ немъ".

Тотчасъ послѣ торжественнаго гимна человѣчеству: „человѣкъ это великолѣпно, все въ человѣкѣ, все для человѣка!" — одинъ изъ слушателей признается:

— „Я, братъ, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу... Потому, *что же дальше?*.. Все, какъ во снѣ... Зачѣмъ я родился?"

На этотъ вопросъ одинъ отвѣтъ: научно-позитивное— *не знаемъ и не узнаемъ*, ignoramus, ignorabimus. „Тьма"! Но послѣ этого отвѣта — еще страшнѣе, потому что еще непонятнѣе.

Съ одной стороны: „существуетъ только человѣкъ", „все въ человѣкѣ"; а съ другой: „человѣчество представляется кучей червей"; „люди, какъ тараканы — совсѣмъ лишніе на землѣ; все для нихъ, а они для чего? Въ чемъ ихъ оправданіе?" Съ одной стороны: „человѣкъ за все

платитъ самъ и потому онъ свободенъ"; а съ другой: „никто ни въ чемъ не виноватъ, потому что всѣ мы одинаково скоты." „Я—скотъ, и сознаніе скотства моего не отягчаетъ меня: я живу въ полной гармоніи." Съ одной стороны: „человѣкъ есть истинный Шекинахъ"—человѣкъ есть Богъ; а съ другой: человѣкъ — „скотъ". И слѣдовательно, обожествленное человѣчество — обожествленное скотство.

Тутъ очевидно въ самой глубинѣ босяцкой метафизики какое-то зіяющее противорѣчіе, въ которое вся она проваливается, а вмѣстѣ съ нею и самъ босякъ.

„Иной разъ думаешь, думаешь. И вдругъ все исчезнетъ изъ тебя, точно провалится насквозь куда-то. Въ душѣ тогда, какъ въ погребѣ, темно, сыро и совсѣмъ пусто. *Совсѣмъ ничего нѣтъ!* Даже страшно... какъ будто ты не человѣкъ, а оврагъ бездонный".

Это самое глубокое изъ всѣхъ признаній босяка.

„Небо пусто"; но вотъ оказывается, что и земля пуста. И провалъ въ эту пустоту земную—подземную — такой же бездонный, какъ въ пустоту небесную. Нѣтъ Бога, но и человѣка нѣтъ—„совсѣмъ ничего нѣтъ". Послѣднее самоутвержденіе человѣка безъ Бога приводитъ къ послѣднему самоотрицанію.

„Братцы! Мы всѣ лопнемъ, ей-Богу! А отчего лопнемъ? Оттого что лишнее все въ насъ и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтобъ я умеръ!.. Хочу, чтобъ я умеръ!"

Ежели, дойдя до этой точки, босякъ уже не только метафизически, но и физически не проваливается, то-есть, не кончаетъ самоубійствомъ, сумасшествіемъ, то тутъ начинается реальное воплощеніе новой метафизики, вѣрнѣе, мистики „подпольнаго человѣка", то же самое, что произошло съ двумя мужиками Достоевскаго, стрѣлявшими изъ ружья въ Причастіе, — то же самое, но болѣе страшное, потому что болѣе *сознательное*: именно сознательная „потребность отрицанія всего, самой главной святыни своей," потребность „свѣситься надъ пропастью, заглянуть въ са-

UNIVERSITY OF MICHIGAN

мую бездну и броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой", „нѣкоторое адское наслажденіе собственной гибелью, потрясающее восхищеніе передъ собственною дерзостью", — „одинъ моментъ такой неслыханной дерзости, а тамъ хоть все пропадай!" Пусть „вѣчная гибель, но былъ же и я на такомъ верху!"..

— „Хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь, — говоритъ одинъ изъ босяковъ Горькаго. — Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобъ стать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: „Ахъ вы, гады, жулье вы лицемѣрное, и больше ничего!" И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... въ дребезги!... Я себя проявлю! Какъ? — это одному дьяволу извѣстно..."

— „Пусть все скачетъ къ чорту на кулички! — говоритъ другой босякъ. — Мнѣ было бы пріятно, если бъ земля вдругъ вспыхнула или разорвалась бы въ дребезги... лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ."

Во имя чего это всемірное разрушеніе? Во имя *ничего*. Разрушеніе для разрушенія, хаосъ для хаоса.

Спокойное, научно-позитивное: ничего не знаемъ, — превращается въ яростное, мистическое: ничего не хотимъ, хотимъ *ничего*! И въ въ этомъ хотѣніи ничтожества обнаруживается послѣдняя сущность босячества—служеніе „умному и страшному Духу Небытія".

Старецъ Лука, главный и, въ сущности, единственный герой „На днѣ"—величайшее созданіе Горькаго.

Среди озвѣрѣвшихъ и осатанѣвшихъ людей „святой старецъ"—какъ ангелъ Божій—со своею тихою усмѣшкою и тихою рѣчью:

„Христосъ жалѣлъ и намъ велѣлъ... Любить надо... Помогать человѣку надо... Уважать его надо"...

Но истиннаго Христа, Богочеловѣка, незамѣтно подмѣняетъ она сперва *человѣкомъ, только человѣкомъ*: „Все—въ человѣкѣ, все—для человѣка", — затѣмъ противополож-

нымъ Христомъ, Человѣкобогомъ: „Человѣкъ живетъ для *лучшаго человѣка*“, то-есть, для „сверхчеловѣка“, который еще не пришелъ, но придетъ.

А пока придетъ сверхчеловѣкъ, старецъ Лука „уважаетъ“ и сверхчеловѣчковъ, которымъ и теперь уже „все позволено“, „наплевать на все“, — то-есть, по-просту „жуликовъ“.

„Я и жуликовъ уважаю; по моему, ни одна блоха не плоха—всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ!“

И этихъ безчисленныхъ, маленькихъ, голенькихъ, черненькихъ созываетъ онъ, собираетъ и ведетъ въ пустыню, въ „будку всеобщаго спасенія“. Манитъ ихъ дѣтскими сказками, лживыми грезами о „праведной землѣ“, о таинственномъ „городѣ“ съ „лѣчебницей для пьяныхъ“, въ которой „мраморный полъ, свѣтъ, чистота, пища,—и все даромъ“, о „хрустальномъ дворцѣ“ и золотомъ вѣкѣ „всеобщаго благополучія“. Въ жизни навѣваетъ имъ „сонъ золотой“, а въ смерти обѣщаетъ вѣчный отдыхъ, вѣчный покой—желанное ничтожество: „ничего *тамъ* не будетъ, ничего; спокой, и больше ничего!“

Тѣ, кто подходитъ къ старцу, чувствуютъ въ немъ какую-то страшную ложь, какъ бы провалъ въ бездонную пустоту:

„Старикъ—шарлатанъ“ ...

„Лука, старецъ лукавый, все исторіи разсказываетъ“...

„Это онъ, старая дрожжа, проквасилъ намъ нашихъ сожителей“ ...

— „Зачѣмъ ты все врешь?—обращается къ нему одинъ изъ слушателей.

— „Это въ чемъ же вру-то я?

— „Во всемъ... Тамъ у тебя хорошо, здѣсь хорошо... Вѣдь врешь! На что?

— „А ты мнѣ повѣрь... Спасибо скажешь... И чего тебѣ правда больно нужна? Подумай-ка! Она, правда-то, можетъ, обухъ для тебя“.

„Правды онъ не любилъ, старикъ, — разсуждаютъ ученики объ учителѣ. — Очень противъ правды возставалъ.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Такъ и надо! Вѣрно, — какая тутъ правда? И безъ нея дышать нечѣмъ“...

„Старикъ — не шарлатанъ! Что такое правда? Человѣкъ, вотъ правда! Онъ это понималъ... Онъ вралъ... Но это изъ жалости къ вамъ, чертъ васъ возьми!... Есть много людей, которые лгутъ изъ жалости къ ближнему. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгутъ. Есть ложь утѣшительная, ложь примиряющая. Ложь оправдываетъ. Ложь нужна. *Ложь — религія!*“

Религія „старца лукаваго“ и есть религія лжи. Діаволъ— „отецъ лжи“; онъ истину ненавидитъ, потому что не устоялъ въ истинѣ; когда говоритъ ложь, свое говоритъ, потому что онъ—отецъ лжи, и вѣчная ложь—его оружіе въ борьбѣ съ Вѣчною Истиною—съ Богомъ.

— „Слушай, старикъ: есть Богъ?“

„Лука молчитъ, улыбаясь.“

Можетъ-быть, во всей русской литературѣ, послѣ Достоевскаго, нѣтъ ничего страшнѣе этой безмолвной улыбки старца Луки.

— „Ну? Есть? Говори!“

Лука, наконецъ, отвѣчаетъ „негромко“:

— „Коли вѣришь, — есть; не вѣришь, — нѣтъ. Во что вѣришь, то и есть“.

Вотъ слово, достойное самого „отца лжи“. На вопросъ: есть Богъ?—отвѣтить: да,—значило бы для него, утвердивъ Вѣчную Истину, уничтожить себя, Вѣчную Ложь; отвѣтить: нѣтъ,—значило бы выдать себя, свою послѣднюю сущность, ту-же Вѣчную Ложь, ибо, разумѣется, самъ онъ, Лукавый, лучше, чѣмъ кто-либо, знаетъ, что Богъ есть, потому что „видитъ Бога“. И Лука, „старецъ лукавый“, отвѣчаетъ надвое: и да, и нѣтъ—ни да, ни нѣтъ. Эти два отвѣта—двѣ стѣны одного провала въ бездонную пустоту.

— Хочешь вѣрить въ Бога, — вѣрь; не хочешь, — не вѣрь. Богъ тебя не спасетъ. *А ты мнѣ повѣрь. Спасибо скажешь. И чего тебѣ правда больно нужна? Подумай-ка. Она, правда-то, можетъ, обухъ для тебя.*

Правда—погибель, ложь—спасенье; правда—зло, ложь—добро; правда—отъ дьявола, ложь—отъ Бога. Ложь стала правдою, правда—ложью.

Извнѣ какъ будто ничего не разрушено; но внутри все опрокинуто, перевернуто вверхъ дномъ, такъ что и разрушать нечего: увлекаемое собственною тяжестью, все само собою падаетъ, рушится, возвращается къ древнему хаосу, къ небытію—„летитъ къ чорту на кулички". А таинственному старцу этого только и нужно, для этого онъ и пришелъ, какъ будто „во имя Отца", а на самомъ дѣлѣ, „во имя свое".

„*Мы солжемъ во имя Твое*,—говоритъ у Достоевскаго Великій Инквизиторъ своему Посѣтителю.—Намъ дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но, подъ конецъ, онито и станутъ послушными".

Это вѣдь и значитъ: „по-моему, ни одна блоха не плоха, всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ".

„Они будутъ дивиться на насъ и считать насъ за боговъ за то, что мы, ставъ во главѣ ихъ, согласились выносить свободу, которой они испугались, и надъ ними господствовать,—такъ ужасно имъ станетъ, подъ конецъ, быть свободными".

„Мы дадимъ имъ тихое, смиренное счастье, счастье слабосильныхъ существъ, какими они и созданы... Мы устроимъ имъ жизнь, какъ дѣтскую игру, съ дѣтскими пѣснями, хоромъ, съ невинными плясками"...

Одинъ изъ „бывшихъ людей" *на днѣ* поетъ, привѣтствуя старца Луку, учителя лжи:

> ... Если къ правдѣ святой
> Міръ дороги найти не сумѣетъ,
> Честь безумцу, который навѣетъ
> Человѣчеству сонъ золотой.

А то, что говоритъ старцу другой, можно бы сказать и Великому Инквизитору:

UNIVERSITY OF MICHIGAN

— „Врешь ты хорошо... сказки говоришь пріятно!“

— „И всѣ будутъ счастливы, — продолжаетъ Великій Инквизиторъ,—всѣ милліоны существъ, кромѣ сотни тысячъ, управляющихъ ими. Ибо лишь мы, хранящіе тайну, только мы будемъ несчастны. Будутъ тысячи милліоновъ счастливыхъ младенцевъ и сто тысячъ страдальцевъ, взявшихъ на себя проклятіе познанія добра и зла. Тихо умрутъ они, тихо угаснутъ во имя Твое, и за гробомъ обрящутъ лишь смерть“...

— „Ничего *тамъ* не будетъ, ничего. Спокой—и больше ничего“, соглашается старецъ Лука съ Великимъ Инквизиторомъ.

— ...„Говорятъ и пророчествуютъ, что Ты придешь и вновь побѣдишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими; но мы скажемъ, что *они спасли лишь самихъ себя, а мы спасли всѣхъ*. Говорятъ, что опозорена будетъ Блудница, сидящая на Звѣрѣ и держащая въ рукахъ своихъ *тайну*, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвутъ порфиру ея и обнажатъ ея гадкое тѣло. Но я тогда встану и укажу Тебѣ на тысячи милліоновъ счастливыхъ младенцевъ, не знавшихъ грѣха. И мы, взявшіе грѣхи ихъ, для счастья ихъ, на себя, мы станемъ предъ Тобой и скажемъ: „Суди насъ, если можешь и смѣешь!“ Знай, что я не боюсь Тебя!“

„То, что я говорю тебѣ, сбудется, и царство наше созиждется“.

„Мы не съ Тобой, а съ *нимъ*, вотъ наша тайна!“

Съ *нимъ*, то-есть, съ „умнымъ и страшнымъ Духомъ Небытія“.

Если бы кто-нибудь, послѣ этого монолога, спросилъ Великаго Инквизитора:

— Есть Богъ?

Онъ молчалъ бы, „улыбаясь“, а потомъ отвѣтилъ бы, какъ старецъ Лука:

„Если вѣришь, — есть; если не вѣришь, — нѣтъ... А ты *мнѣ* повѣрь. Спасибо скажешь!“

Но послѣдней тайны своей Великій Инквизиторъ, такъ же какъ старецъ Лука, не открываетъ. Послѣдняя тайна обоихъ въ томъ, что они, подобно отцу своему, отцу лжи, который „человѣкоубійца былъ искони", хотятъ не спасти, а погубить міръ. Оба они знаютъ, что человѣкъ никогда ни для какого блаженства не откажется *окончательно* отъ свободы, никогда ни для какой утѣшительной лжи не отвергнетъ истину *окончательно*, никогда ни для какихъ золотыхъ сновъ земли не забудетъ сновъ небесныхъ *окончательно*. Оба они знаютъ, что рано или поздно человѣкъ проснется отъ сна, затоскуетъ въ рабствѣ, проклянетъ ложь и увидитъ за ложью бездонную пустоту, въ которую влечетъ его „отецъ лжи".

Тогда-то наступитъ та послѣдняя скорбь, о которой сказано: „будетъ скорбь, какой не было отъ начала міра"; тогда люди „будутъ издыхать отъ страха", потому что страшнѣе всякаго страха — небытіе; будутъ „проклинать имя Бога живого и звать смерть, но смерть убѣжитъ отъ нихъ". И захотятъ уничтожить себя, уничтожить міръ, только бы не видѣть этого грозящаго ничтожества, этой бездонной пустоты небытія.

Великій Инквизиторъ и старецъ Лука — не реальныя лица, а фантастическіе призраки. Но тотъ, для кого христіанство реально, увидитъ и за этими призраками нѣчто реальное, какъ бы математически точную проэкцію въ неизмѣримыя дали будущаго.

Во всемірной исторіи проходятъ иногда тѣни грядущихъ событій. Въ нереальномъ, но, можетъ-быть, только *пока еще* нереальномъ, не воплотившемся лицѣ, которое сквозитъ за этими двумя призрачно-прозрачными масками— Великимъ Инквизиторомъ и старцемъ Лукою, — прошла, кажется, одна изъ такихъ тѣней, никѣмъ не узнанная, пророческая и какъ бы предостерегающая тѣнь того, чего еще нѣтъ, но что будетъ, если не лживо слово самой Истины:

„Я пришелъ во имя Отца Моего, и вы Меня не принимаете; другой придетъ во имя свое, его примите".

Эти вѣщіе призраки — первыя вѣхи пути, на который уже вступило такъ-называемое „христіанское“ человѣчество,—пути, ведущаго отъ религіи истины, къ религіи лжи, отъ Богочеловѣчества къ Человѣкобо́жеству, отъ Христа къ Антихристу.

III

„Здѣсь все слиняло—одинъ *голый человѣкъ* остался“,—опредѣляетъ себѣ подобныхъ босякъ „На днѣ“. Человѣчество, только человѣчество, *голое человѣчество* и есть босячество.

Чеховскій интеллигентъ—тотъ-же горьковскій босякъ, съ котораго уже „все слиняло“, кромѣ нѣкоторыхъ умственныхъ и нравственныхъ условностей, внѣшнихъ покрововъ, ветхихъ рубищъ, едва прикрывающихъ послѣднюю наготу, послѣдній стыдъ человѣческій; горьковскій босякъ—тотъ-же чеховскій интеллигентъ, обнаженный и отъ этихъ послѣднихъ покрововъ, совсѣмъ „голый человѣкъ“.

Мы видѣли общую исходную точку интеллигента и босяка — одну и ту же догматику позитивизма.

„Существуютъ законы и силы... Человѣку некуда податься... Ничего неизвѣстно... Тьма!“ — утверждаетъ горьковскій босякъ. „Обратитесь къ точнымъ знаніямъ... довѣрьтесь очевидности... дважды два есть четыре“, — говоритъ чеховскій интеллигентъ.

— „Теперь передъ смертью меня интересуетъ одна только наука, — признается умирающій старый профессоръ въ „Скучной исторіи“. — Испуская послѣдній вздохъ, я все таки буду вѣрить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви, и что только *ею одною* человѣкъ побѣдитъ природу и себя. Вѣра эта, быть

можетъ, наивна... Но я не виноватъ, что вѣрю такъ, а не иначе... Судьбы костнаго мозга интересуютъ меня больше, чѣмъ конечная цѣль мірозданія".

На вопросъ о конечной цѣли мірозданія наука отвѣчаетъ: не знаю. Профессоръ всю жизнь довольствовался этимъ отвѣтомъ и, ежели передъ смертью почувствовалъ, что не можетъ имъ довольствоваться, то самъ не понимаетъ, почему случилось такъ, никакого иного отвѣта не находитъ и не сомнѣвается, что наука все, а не часть всего, точно такъ же какъ познающій разумъ, источникъ науки, не все, а только часть всего существа человѣческаго.

Догматическій позитивизмъ приводитъ босяка къ столь же догматическому матеріализму въ нравственности: „Брюхо въ человѣкѣ главное дѣло. А какъ брюхо спокойно, значитъ, и душа жива. Всякое дѣяніе человѣческое отъ брюха происходитъ". — „Волкъ правъ". Эта единственная волчья правда босячества превратится у чеховской интеллигенціи въ матеріализмъ, реализмъ, дарвинизмъ или въ какой нибудь другой *измъ*, но, въ сущности, это будетъ все тотъ же босяцкій цинизмъ. Герой „Дуэли", зоологъ фонъ-Коренъ „хлопочетъ объ улучшеніи человѣческой породы" посредствомъ естественнаго подбора и борьбы за существованіе, которые, будто бы, суть высшіе законы не только животнаго, но и человѣческаго міра. „Есть сила, которая сильнѣе насъ и нашей философіи... Когда эта сила хочетъ уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мѣшайте ей вашими пилюлями и цитатами изъ дурно понятаго Евангелія... Наши знанія и очевидность говорятъ вамъ, что человѣчеству грозитъ опасность со стороны нравственно и физически ненормальныхъ. Если такъ, то боритесь съ ненормальными. Если вы не въ силахъ возвысить ихъ до нормы, то у васъ хватитъ силы... уничтожить ихъ". — „Значитъ, любовь въ томъ, чтобы сильный побѣждалъ слабаго?" — „Несомнѣнно". — „Но вѣдь сильные распяли Господа нашего Іисуса Христа!" Зоологъ возражаетъ на это довольно жалкими софизмами, стараясь дока-

UNIVERSITY OF MICHIGAN

зать, что заповѣдь любви Христовой отнюдь не противорѣчитъ зоологическому закону борьбы, пожиранія слабыхъ сильными, такъ что можно подумать, будто бы Христосъ распятъ только для того, чтобы подтвердить единую спасающую истину дарвинизма. Такое „разумное христіанство“ не ветхое ли рубище, сквозь дыры котораго зіяетъ безстыдная нагота человѣческаго, только человѣческаго разума, а за нею еще болѣе безстыдная, голая, босяцкая „волчья“ правда?

„Мертвичина ты, стерва тухлая!“ отвѣчаетъ у Горькаго босякъ христіанину. „Самое стойкое и живучее изъ всѣхъ гуманитарныхъ знаній, это, конечно, ученіе Христа,— разсуждаетъ чеховскій интеллигентъ.—Эта проповѣдь любви ради любви, какъ искусства для искусства, если бы могла имѣть силу, въ концѣ концовъ, привела бы человѣчество къ полному вымиранію и такимъ образомъ совершилось бы грандіознѣйшее изъ злодѣйствъ, какія когда-либо бывали на землѣ... *Поэтому никогда не ставьте вопроса на такъ называемую христіанскую почву*“.

Какъ относился самъ Чеховъ къ религіи вообще и къ христіанству въ частности?

По произведеніямъ его можно только догадываться, хотя съ очень большою вѣроятностью, что, подобно своему герою, Чеховъ видѣлъ въ христіанствѣ „одно изъ гуманитарныхъ знаній“, принималъ въ немъ человѣческую нравственность, а все остальное отвергалъ, какъ суевѣріе; но и въ этомъ очищенномъ видѣ христіанство представлялось ему столь сомнительнымъ, что онъ самъ, подобно зоологу фонъ-Корену, предпочиталъ „никогда не ставить вопроса на такъ называемую христіанскую почву“. Какъ бы то ни было, тотъ фактъ, что христіанство въ произведеніяхъ Чехова почти умолчено, уже самъ по себѣ значителенъ.

Мнѣ пришлось бы ограничиться сказаннымъ, если бы судьба не дала мнѣ въ руки двухъ документовъ чрезвычайной цѣнности для исторіи внутреннихъ религіозныхъ переживаній Чехова, которыя онъ всегда скрывалъ ревниво

и тщательно. Это два неизданныхъ частныхъ письма его къ С. П. Дягилеву, редактору „Міра Искусства", чьей любезности я обязанъ разрѣшеніемъ привести здѣсь выдержки изъ этихъ писемъ. Въ одномъ изъ нихъ отъ 12 іюля 1903 года, то есть, за годъ до смерти, Чеховъ пишетъ:

„Я давно растерялъ мою вѣру и только съ недоумѣніемъ поглядываю на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго".

Во второмъ, отъ 30 декабря 1902 года—по поводу современнаго религіознаго движенія въ Россіи, идущаго отъ Вл. Соловьева и Достоевскаго, движенія, которое выразилось отчасти, хотя далеко неполно, въ Религіозно-Философскихъ Собраніяхъ и въ журналѣ „Новый Путь":

„Вы пишете, что мы говорили о серьезномъ религіозномъ движеніи въ Россіи. Мы говорили про движеніе не въ Россіи, а въ интеллигенціи. Про Россію я ничего не скажу, интеллигенція же пока только играетъ въ религію и главнымъ образомъ отъ нечего дѣлать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла отъ религіи и уходитъ все дальше, что бы тамъ не говорили, и какія бы философско-религіозныя общества не собирались. Хорошо это или дурно, рѣшить не берусь, скажу только, что религіозное движеніе, о которомъ Вы пишете—само по себѣ, а вся современная культура—сама по себѣ, и ставить вторую въ причинную зависимость отъ первой никакъ нельзя. Теперешняя культура это—начало работы во имя великаго будущаго, работы, которая будетъ продолжаться, быть можетъ, еще десятки тысячъ лѣтъ для того, чтобы хотя въ далекомъ будущемъ человѣчество познало истину настоящаго Бога; т. е. не угадывало бы, не искало бы въ Достоевскомъ, а познало ясно, какъ познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура это—начало работы, а религіозное движеніе, о которомъ мы говорили,—есть пережитокъ, уже почти конецъ того, что отжило, или отживаетъ" [1]).

---

[1]) Въ виду важности обоихъ писемъ, привожу ихъ здѣсь цѣликомъ:

30 Декабря 1902.

Многоуважаемый

Сергѣй Павловичъ!

„Міръ Искусства“ со статьей о Чайкѣ я получилъ, статью прочелъ — большое Вамъ спасибо. Когда я кончилъ эту статью то мнѣ опять захотѣлось написать пьесу, что вѣроятно я и сдѣлаю послѣ Января.

Вы пишете, что мы говорили о серьезномъ религіозномъ движеніи въ Россіи. Мы говорили про движеніе не въ Россіи, а въ интеллигенціи. Про Россію я ничего не скажу, интеллигенція же пока только играетъ въ религію и главнымъ образомъ отъ нечего дѣлать. Про образованную часть нашего общества можно сказать: что она ушла отъ религіи и уходитъ отъ нея все дальше и дальше, что̀ бы тамъ не говорили и какія бы философско-религіозныя общества не собирались. Хорошо это, или дурно, рѣшить не берусь, скажу только, что религіозное движеніе, о которомъ Вы пишете — само по себѣ, а вся современная культура — сама по себѣ, и ставить вторую въ причинную зависимость отъ первой нельзя. Теперешняя культура это начало работы во имя великаго будущаго, работы, которая будетъ продолжаться, быть можетъ, еще десятки тысячъ лѣтъ для того, чтобы, хотя въ далекомъ будущемъ человѣчество познало истину настоящаго Бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы въ Достоевскомъ, а познало ясно, какъ познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура это начало работы, а религіозное движеніе, о которомъ мы говорили, есть пережитокъ, уже почти конецъ того, что отжило, или отживаетъ. Впрочемъ, исторія длинная, всего не напишешь въ письмѣ. Когда увидите г. Философова, то, пожалуйста, передайте ему мою глубокую благодарность. Поздравляю Васъ съ новымъ годомъ, желаю всего хорошаго.

Преданный

А. Чеховъ.

12 Іюля 1903.

Многоуважаемый Сергѣй Павловичъ, я немного запаздываю отвѣтомъ на Ваше письмо, такъ какъ получилъ его не въ Наро-Ѳоминскомъ, а въ Ялтѣ, куда пріѣхалъ на этихъ дняхъ и гдѣ пробуду вѣроятно до осени. Я долго думалъ, прочитавъ Ваше письмо, и какъ ни заманчиво Ваше предложеніе, или приглашеніе, все же я долженъ въ концѣ концовъ отвѣтить Вамъ не такъ, какъ хотѣлось бы и мнѣ и Вамъ.

Быть редакторомъ „Міръ Искусства“ я не могу, такъ какъ жить въ Петербургѣ мнѣ нельзя, а журналъ не переѣдетъ для меня въ Москву, редактировать же по почтѣ и по телеграфу невозможно и имѣть во мнѣ только номинальнаго редактора для журнала нѣтъ никакого разсчета. Это во первыхъ. Во вторыхъ, какъ картину пишетъ только одинъ художникъ и рѣчь говоритъ только одинъ ораторъ, такъ и журналъ редактируется только однимъ человѣкомъ. Конечно, я не критикъ и, пожалуй критическій отдѣлъ редактировалъ бы неважно, но съ другой стороны, какъ бы это я ужился подъ одной крышей съ Д. С. Мережковскимъ, который вѣруетъ опредѣленно, вѣруетъ учительски, въ то время какъ я давно растерялъ свою вѣру и только съ недоумѣніемъ поглядываю на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго. Я уважаю Д. С. и цѣню его, и какъ человѣка, и какъ литературнаго дѣятеля, но вѣдь возъ-то мы, если и повеземъ, то въ разныя стороны. Какъ бы ни было—ошибочно мое отношеніе къ дѣлу, или нѣтъ, я всегда думалъ и теперь такъ увѣренъ, что редакторъ долженъ быть одинъ, только одинъ, и что „Міръ Искусства“ въ частности должны редактировать только Вы одни. Таково мое мнѣніе, и мнѣ кажется, что я не измѣню его.

Не сердитесь на меня, дорогой Сергѣй Павловичъ; мнѣ кажется, что Вы, если бы проредактировали журналъ еще лѣтъ пять, то согласились бы со мной. Въ журналѣ, какъ въ картинѣ, или поэмѣ, должно быть одно лицо и должно чувствоваться одна воля. Это и было до сихъ поръ въ „Мірѣ Искусства“, и это было хорошо. И надо бы держаться этого.

Желаю Вамъ всего хорошаго, крѣпко жму руку. Въ Ялтѣ прохладно, или, по крайней мѣрѣ, не жарко, я торжествую. Низко Вамъ кланяюсь.

Вашъ *А. Чеховъ.*

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Достоевскій вѣрилъ въ истину ученія Христова; эта истина была для него, конечно, совсѣмъ иного порядка, но *не меньшей, а большей достовѣрности*, чѣмъ „дважды два есть четыре“. Вѣра Достоевскаго кажется Чехову смутнымъ „угадываніемъ“, не потому ли, что міръ внутренняго мистическаго опыта, который Достоевскому такъ близокъ, почти незнакомъ Чехову? Этотъ внутренній религіозный опытъ, можетъ быть, объективно ложенъ, но отнюдь не менѣе точенъ и ясенъ, чѣмъ самыя точныя и ясныя математическія истины. Разумѣется, для тѣхъ, кто незнакомъ съ интегральнымъ и дифференціальнымъ исчисленіемъ, формулы высшей математики кажутся менѣе ясными, чѣмъ дважды два четыре; но изъ этого не слѣдуетъ, что онѣ менѣе точны и достовѣрны. Во всякомъ случаѣ, возвращаться отъ высшей математики къ таблицѣ умноженія въ поискахъ за общедоступною ясностью—значитъ, идти не впередъ, а назадъ, не къ великому будущему, а къ малому прошлому. Противополагая недостаточно, будто бы, ясной религіозной истинѣ, въ которую вѣрилъ Достоевскій, но которая была открыта людямъ не Достоевскимъ, а Христомъ, другую, еще неизвѣстную истину „настоящаго Бога“, которая будетъ открыта, можетъ быть, черезъ десятки тысячъ лѣтъ и которая сведетъ всѣ тайны Божьи, донынѣ казавшіяся людямъ страшными и неисповѣдимыми, къ общедоступной ясности таблицы умноженія,—Чеховъ тѣмъ самымъ подписываетъ смертный приговоръ не только современному религіозному движенію въ Россіи, но и всему христіанству, всей религіозной жизни человѣчества, какъ вымирающему „пережитку“, обломку старыхъ, никому ненужныхъ суевѣрій; порываетъ всякую живую связь между прошлымъ и будущимъ всемірной культуры. Ежели такъ, то не только современное религіозное движеніе въ Россіи, но и все христіанство, „само по себѣ“, а „современная культура сама по себѣ“. Они враги на жизнь и смерть. Пусть Чеховъ и не сдѣлалъ этого вывода; все же ясно, что онъ не могъ его избѣгнуть.

Въ разсказѣ „Студентъ“, въ глухой деревнѣ у пылающаго костра, въ ночь на Страстную Пятницу простые люди тронуты до слезъ разсказомъ студента о томъ, что происходило девятнадцать вѣковъ назадъ въ точно такую же ночь, у такого же костра, во дворѣ первосвященника Каіафы. „То, о чемъ онъ только что разсказывалъ, что происходило девятнадцать вѣковъ назадъ, — думаетъ студентъ,—имѣетъ отношеніе къ настоящему, къ этой пустынной деревнѣ къ нему самому, ко всѣмъ людямъ. Прошлое связано съ настоящимъ непрерывною цѣпью событій, вытекавшихъ одно изъ другого. И ему казалось, что онъ только что видѣлъ оба конца этой цѣпи: дотронулся до одного конца, какъ дрогнулъ другой... Правда и красота, направлявшія человѣческую жизнь тамъ, во дворѣ первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное въ человѣческой жизни и вообще на землѣ“...

Съ одной стороны христіанство—только „пережитокъ того, что отживаетъ и уже почти отжило“, обломокъ старины, не имѣющій никакого отношенія къ будущему; съ другой христіанство есть вѣчная цѣпь, соединяющая прошлое съ будущимъ, въ христіанствѣ—„вѣчная правда и красота, составляющія главное въ человѣческой жизни и вообще на землѣ“. Какъ выйти изъ этого противорѣчія? Чеховъ не только не вышелъ изъ него, но и не вошелъ въ него, какъ слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, своимъ сознаніемъ не вошелъ, а прошелъ мимо, не задумываясь. Онъ говорилъ христіанству то окончательное да, то окончательно нѣтъ, съ одинаковою опрометчивою легкостью. И русская интеллигенція тоже не задумалась.

Кажется, въ жизни Чехова, такъ же, впрочемъ, какъ въ жизни каждаго человѣка, было мгновеніе, когда онъ встрѣтился лицомъ къ лицу со Христомъ и могъ бы подойти къ Нему; но что-то испугало, оттолкнуло Чехова—не вѣчное ли смѣшеніе религіи съ реакціей, подозрѣніе, что въ христіанствѣ заключено отрицаніе человѣческой свободы

и человѣческаго разума даже до таблицы умноженія? И Чеховъ прошелъ мимо Христа, не оглядываясь и даже потомъ нарочно стараясь не смотрѣть въ ту сторону, гдѣ Христосъ. А если бы посмотрѣлъ, то увидѣлъ бы, что и „десятитысячелѣтіямъ“ не такъ-то легко будетъ отдѣлаться отъ „пережитковъ“ того, что произошло во дворѣ первосвященника или въ саду Геѳсиманскомъ, гдѣ Сильнѣйшій изъ людей скорбѣлъ до кроваваго пота, молясь: *Да идетъ чаша сія мимо Меня, впрочемъ не Моя, но Твоя да будетъ воля,*—и этою молитвою разрѣшалъ самую страшную міровую антиномію божественной необходимости, по которой смерть есть смерть, какъ „дважды два есть четыре“, и божественною свободою, которая требуетъ, чтобы смерть была не смертью, а воскресеніемъ, несмотря на то, что дважды два есть четыре.

„Вѣдь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти“, устами Подпольнаго человѣчка возражаетъ Достоевскій Чехову. „По крайней мѣрѣ, человѣкъ всегда какъ-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Я согласенъ, что дважды два превосходная вещь; но если ужъ все хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещица“.

Это, конечно,—безуміе, то самое безуміе, за которое Чеховъ не взлюбилъ Достоевскаго. Но неужели и самъ Чеховъ, хоть изрѣдка, напримѣръ, въ ту минуту, когда, умирая въ пустотѣ безвѣрія, готовъ былъ, кажется воскликнуть съ однимъ изъ своихъ героевъ: *„хоть бы удариться въ мистицизмъ, хоть бы кусочекъ какой нибудь вѣры!“* — не чувствовалъ соблазна этого безумія? Неужели никогда не видѣлъ онъ, что дважды два четыре, возведенное на степень религіи — вовсе не путь, а стѣна, о которую человѣчество бьется головой и будетъ биться, пока не разобьетъ или эту стѣну, или собственную голову—и хорошо дѣлаетъ, потому что человѣчество только до тѣхъ поръ и достойно этого имени, пока свобода для него дороже головы? И неужели, наконецъ, Чеховъ не понялъ бы, при всемъ своемъ благоразуміи, безумія тѣхъ, кто, послѣ десятитысячелѣтій куль-

турной работы, отыскавъ „настоящаго Бога“, въ которомъ не оказалось бы ничего больше, чѣмъ дважды два четыре, возмутились бы и пожелали отправить такого Бога къ чорту?

Чехова разрывали на части всевозможные политическіе и литературные лагери: дѣлали его позитивистомъ, соціалистомъ, марксистомъ, народникомъ, декадентомъ и даже мистикомъ; послѣдняя попытка неудачнѣе всѣхъ остальныхъ. Ежели у Чехова и была жажда религіи, то жажда эта осталась навсегда неутоленною; а что касается до подлинныхъ религіозныхъ переживаній его, то можно сказать о немъ тоже, что онъ говоритъ объ одномъ изъ своихъ героевъ:

„Небольшой кусочекъ религіознаго чувства теплился въ груди его наравнѣ съ другими нянюшкиными сказками“.

Или то, что онъ самъ о себѣ говоритъ:

„Я давно растерялъ свою вѣру и только съ недоумѣніемъ поглядываю на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго“.

И въ этомъ, впрочемъ, какъ во всемъ остальномъ, Чеховъ истинный представитель религіознаго сознанія русской интеллигенціи.

Рѣшивъ, что „небо пусто“, а „съ земли, кромѣ какъ въ землю, никуда не соскочишь“, чеховскій интеллигентъ, такъ же какъ горьковскій босякъ, противопоставляетъ христіанству, которое кажется ему религіей „пустого неба“, религію полной, исполненной земли, религію прогресса—земного рая, земного неба.

„Пройдетъ еще немного времени, какихъ нибудь двѣсти, триста лѣтъ, и какая будетъ жизнь, какая жизнь!“ Вмѣстѣ съ пронзительно унылою свирѣлью Луки Бѣднаго, Антона Бѣднаго—пѣснью о кончинѣ міра, о всеобщей погибели—эта пѣснь о безконечности міра, о всеобщемъ спасеніи, пѣснь грядущаго рая земного, грустно веселая, какъ призывный крикъ журавлей,—второй, всегда сопутствующій первому и ему противорѣчащій, leit-motiv чеховской музыки. „Черезъ двѣсти, триста лѣтъ жизнь на землѣ будетъ невообразимо прекрасной, изумительной. Человѣку нужна

такая жизнь, и если ея нѣтъ пока, то онъ долженъ предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться къ ней". Это однообразное, похожее не то на молитву, не то на заклятье: «черезъ двѣсти, триста лѣтъ» повторяется упорно и уныло, почти такъ же уныло, какъ двѣ три ноты плачущей свирѣли. „Черезъ двѣсти, триста, наконецъ, тысячу лѣтъ,— дѣло не въ срокѣ,—настанетъ новая счастливая жизнь"... Это священное исповѣданіе, этотъ новый „исламъ" твердятъ почти всѣ герои Чехова, которыхъ онъ любитъ, твердитъ онъ самъ: „Какъ часто,—вспоминаетъ одинъ изъ пріятелей Чехова,—говорилъ онъ, глядя на свой садъ прищуренными глазами: „Знаете-ли, черезъ триста, четыреста лѣтъ вся земля обратится въ цвѣтущій садъ. И жизнь будетъ тогда необыкновенно легка и удобна... Какъ хороша будетъ жизнь черезъ триста лѣтъ!"

Казалось бы, на этомъ и успокоиться. Все ясно, все просто; никакихъ сомнѣній, никакихъ тайнъ. „Черезъ двѣсти, триста лѣтъ" наступитъ золотой вѣкъ на землѣ, а пока надо ждать и надѣяться, да идти навстрѣчу этому восходящему солнцу прогресса.

Казалось бы такъ. А между тѣмъ Чеховъ не только на этомъ не успокаивается, но съ этого-то и начинается вся его трагедія; тутъ-то и возникаютъ для него самые неразрѣшимыя сомнѣнія, самые неразгаданныя загадки. Тутъ кончается внѣшній, мнимый, все понимающій, всѣмъ понятный—и выступаетъ подлинный, „подпольный", ничего не понимающій и никому непонятный Чеховъ.

— „Я, голубчикъ, не понимаю и боюсь жизни... Когда я лежу на травѣ и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимаетъ, то мнѣ кажется, что ея жизнь полна сплошного ужаса, и въ ней я вижу самого себя.

— „Что же собственно вамъ страшно?

— „Мнѣ все страшно... Мнѣ страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно... *Никого и*

ничего я не понимаю... Если вы понимаете что нибудь, то... поздравляю васъ. У меня темно въ глазахъ".

Не тотъ же ли это самый страхъ у чеховскаго интеллигента, какъ у горьковскаго босяка, который признается тотчасъ послѣ торжественнаго гимна человѣчеству:

— „Я, братъ, боюсь иногда... Понимаешь? Трушу... Потому, *что же дальше?*.. Все какъ во снѣ... Зачѣмъ я родился?"

На вопросъ обоихъ—одинъ научно-позитивный отвѣтъ: „Ничего неизвѣстно. Тьма!" Отвѣтъ, равняющій жизнь человѣка и всего человѣчества съ жизнью козявки, „полною сплошного ужаса". Жизнь кажется ловушкой, изъ которой нѣтъ выхода; природа — „темною, безгранично-глубокою и холодною ямою, изъ которой не выбраться".

„Небо пусто"; но нельзя человѣку не видѣть надъ собою этого пустого неба и нельзя не чувствовать своего безконечнаго одиночества въ этой безконечной пустотѣ. Бывшая нѣкогда въ религіи, сила притяженія „къ мірамъ инымъ", сила мистической радости не исчезаетъ, съ исчезновеніемъ религіи, а превращается въ равную и противоположную силу отталкиванія, силу мистическаго ужаса.

„Когда долго, не отрывая глазъ, смотришь на глубокое небо,—говоритъ Чеховъ,—то почему-то мысли и душа сливаются въ сознаніе одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одинокимъ, и все то, что считалъ раньше близкимъ и роднымъ, становится безконечно далекимъ и не имѣющимъ цѣны... Приходитъ на мысль то одиночество, которое ждетъ каждаго изъ насъ въ могилѣ, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной".

Ужасна, потому что непонятна, жизнь; еще ужаснѣе, потому что еще непонятнѣе, смерть.

Вопросъ о безсмертіи, такъ же какъ вопросъ о Богѣ—одна изъ главныхъ темъ русской литературы отъ Лермонтова до Л. Толстого и Достоевскаго. Но какъ бы ни углублялся этотъ вопросъ, какъ бы не колебалось его рѣшеніе между *да* и *нѣтъ*, — все же вопросъ остается вопросомъ.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Чеховъ первый на него отвѣтилъ окончательнымъ и безповоротнымъ *нѣтъ*, поставивъ средоточіемъ душевной трагедіи всѣхъ своихъ героевъ мысль о смерти, какъ объ уничтоженіи.

— „А вы не вѣрите въ безсмертіе души?—спрашиваетъ уѣзднаго доктора уѣздный почтмейстеръ.

— „Нѣтъ, уважаемый Михаилъ Аверьянычъ, не вѣрю и не имѣю основанія вѣрить.

— „Признаться, и я сомнѣваюсь".

Какъ просто! Но подъ этой простотой весь ужасъ, на какой способна душа человѣческая.

„О, зачѣмъ человѣкъ не безсмертенъ?—думаетъ тотъ-же докторъ, оставшись ночью одинъ.—Зачѣмъ мозговые центры и извилины, зачѣмъ зрѣніе, рѣчь, самочувствіе, если всему этому суждено уйти въ почву и, въ концѣ концовъ, охладѣть вмѣстѣ съ земною корою, а потомъ милліоны лѣтъ безъ смысла и безъ цѣли носиться съ землей вокругъ солнца? Для того, чтобы охладѣть и потомъ носиться, совсѣмъ ненужно извлекать изъ небытія человѣка съ его высокимъ, почти божескимъ умомъ, и потомъ, словно въ насмѣшку, превращать его въ глину".

И докторъ сходитъ съ ума отъ этихъ простыхъ мыслей.

„Скоро меня возметъ смерть", думаетъ старый профессоръ, знаменитый ученый, герой „Скучной исторіи". И всѣ великія научныя истины кажутся ему ничтожными передъ этой простой истиной: „скоро меня возметъ смерть."

Онъ продолжаетъ вѣрить, что „наука—самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка и что только ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя"... Но вѣра эта не спасаетъ его отъ страха смерти. Вѣра въ науку сама по себѣ, а мысль о смерти сама по себѣ. „Если кто философствуетъ, это значитъ, что онъ не понимаетъ". „Никакая философія не можетъ примирить меня со смертью, и я смотрю на нее, просто какъ на погибель". Среди лекціи, въ то самое время, когда онъ проповѣдуетъ безсмертное величіе и торжество науки,—„къ горлу вдругъ подступаютъ

слезы», и онъ чувствуетъ „страстное истерическое желаніе протянуть впередъ руки... и прокричать громкимъ голосомъ“, что его, „знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казнѣ“. — „И въ это время мое положеніе представляется такимъ ужаснымъ, что мнѣ хочется, чтобы всѣ мои слушатели ужаснулись, вскочили съ мѣстъ и въ паническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ, бросились къ выходу“. — „Ужасъ у меня безотчетный, животный... такой ужасъ, какъ будто я вдругъ увидѣлъ громадное зловѣщее зарево“.

Онъ смутно сознаетъ: „во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ... Что это значитъ? Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ перемѣны убѣжденій, то *откуда могла взяться эта перемѣна*? *Или раньше я былъ слѣпъ*?“ Кажется, еще шагъ сознанія — и онъ пойметъ все, пойметъ, что дѣйствительно былъ слѣпъ, и слѣпа была его вѣра въ науку. Какая же эта вѣра, съ которой можно жить, но нельзя умереть, которая исчезаетъ отъ мысли о смерти, какъ ледъ отъ огня? Но поздно. Сознаніе его такъ и не сдѣлаетъ этого шага. Прежде не видѣлъ онъ истины, потому что былъ слѣпъ, а теперь слѣпъ, потому что увидѣлъ истину, и слишкомъ внезапный свѣтъ ея ослѣпилъ его. И онъ уже видя не видитъ и ничего не можетъ сознать, а можетъ только дрожать, какъ затравленный звѣрь, и кричать послѣднимъ отчаяннымъ крикомъ: „Я утопаю... бѣгу... прошу помощи!“ Но никто и ничто ему не поможетъ—меньше всего религія науки, человѣческаго, только человѣческаго разума, религія прогресса—здѣшней вѣчности, смертнаго безсмертія.

Теперь понятно, для чего нужна эта религія: она служитъ чѣмъ-то въ родѣ ширмъ отъ страшнаго свѣта истины, „бѣлаго свѣта смерти“. Но старинныя ширмы изъ пестрой тафтицы съ веселенькимъ узорцемъ во вкусѣ XVIII вѣка, изображающимъ пастораль золотого вѣка, эти вольтеровскія ширмы, за коими такъ мирно почивали наши дѣдушки и бабушки, — давно износились, продырявились, и сквозь

UNIVERSITY OF MICHIGAN

всѣ дыры свѣтитъ свѣтъ бѣлаго дня; спящіе просыпаются и уже не могутъ заснуть и снова увидѣть золотой сонъ прогресса.

— „Возсіяетъ заря новой жизни, восторжествуетъ правда!“ бредятъ спящіе.

— „Я не нахожу особенной причины радоваться,—отвѣчаютъ проснувшіеся. — Правда, какъ вы изволили выразиться, восторжествуетъ, но вѣдь сущность вещей не измѣнится, законы природы останутся все тѣ же. Люди будутъ болѣть, стариться и умирать, такъ же какъ и теперь. Какая бы великолѣпная заря ни освѣщала вашу жизнь, все же, въ концѣ концовъ, васъ заколотятъ въ гробъ и бросятъ въ яму.

— „А безсмертіе?

— „Э, полноте!

— „Вы не вѣрите, ну, а я вѣрю... Если нѣтъ безсмертія, то его, рано или поздно, изобрѣтетъ великій человѣческій умъ“.

На это изобрѣтенное безсмертіе проснувшійся не отвѣчаетъ даже: „Э, полноте“, — а только снисходительно улыбается и спрашиваетъ: „Вы изволили гдѣ нибудь получить образованіе?“

„*Прогрессъ—алхимія*“, какъ-то неосторожно признается одинъ изъ чеховскихъ героевъ, и кажется, это — искреннѣйшее признаніе самого Чехова. Во всякомъ случаѣ, вѣра въ научное безсмертіе ничѣмъ не отличается отъ вѣры въ жизненный элексиръ или философскій камень средневѣковыхъ алхимиковъ. Это — ситцевая заплата XX вѣка на шелковыхъ ширмахъ XVIII. Но ситецъ деретъ шелкъ, и дыра еще больше. Впрочемъ, какъ ни чини эти ширмы, а рано или поздно, придется ихъ сдать въ лавку старьевщика, вмѣстѣ съ другимъ дѣдушкинымъ хламомъ. Да и разсвѣло уже такъ, что ни за какими ширмами, ни старыми, ни новыми, отъ свѣта не спрячешься—просыпаться пора.

„Я хотѣлъ бы проснуться черезъ сто лѣтъ,—мечтаетъ умирающій профессоръ въ „Скучной исторіи“, — и хоть

однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой... *Дальше что?—А дальше ничего*".

— „Я, братъ, иногда боюсь... Понимаешь? Трушу... Потому, *что же дальше?*"

И чеховскій интеллигентъ, знаменитый ученый, на высотѣ всѣхъ своихъ знаній, оказывается передъ лицомъ смерти такимъ же „голымъ человѣкомъ", какъ босякъ „на днѣ".

„Если вообразить,—думаетъ сходящій съ ума докторъ „Палаты № 6", — если вообразить, что черезъ милліонъ лѣтъ мимо земного шара пролетитъ въ пространствѣ какой нибудь духъ, то онъ увидитъ только глину и голые утесы. Все—и культура и нравственный законъ—пропадетъ и даже лопухомъ не порастетъ".

И съ умнымъ докторомъ, и съ великимъ ученымъ согласенъ пастухъ Лука Бѣдный, который поетъ на своей унылой свирѣли о концѣ міра, о всеобщей погибели. Онъ тоже не сомнѣвается въ прогрессѣ, въ движеніи куда-то впередъ, но сомнѣвается, что впереди — спасеніе, а не погибель:

— „Умнѣй-то умнѣй народъ сталъ, это вѣрно, да что съ того толку? На кой прахъ людямъ умъ передъ погибелью-то? Пропадать и безъ всякаго ума можно"...

И безъ всякаго прогресса.

Спрашивается: есть ли у чеховскихъ героевъ, есть ли у самого Чехова что-нибудь, чѣмъ бы они могли защититься отъ этой простой и съ ума сводящей истины: „Все пропадетъ и даже лопухомъ не поростетъ." И если нѣтъ ничего, то какъ же не видятъ они, какъ же самъ Чеховъ не видитъ, что достаточно одного прикосновенія этой истины о смерти, какъ уничтоженіи, чтобы уничтожить до тла его послѣднюю и единственную святыню?

Возможенъ одинъ лишь осмысленный выводъ изъ этого безсмысленнаго ужаса:

— „Мнѣ кажется,—говоритъ Маша, одна изъ „Трехъ сестеръ",—человѣкъ долженъ быть вѣрующимъ, или долженъ

UNIVERSITY OF MICHIGAN

искать вѣры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летятъ, для чего дѣти родятся, для чего звѣзды на небѣ... *Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынъ-трава*".

Но „никому ничего неизвѣстно", и значитъ, дѣйствительно „все пустяки, трынъ-трава". Жизнь каждаго человѣка кончается смертью, уничтоженіемъ, то-есть, нулемъ; и жизнь всего человѣчества, сумма отдѣльныхъ человѣческихъ жизней только сумма нулей,—тотъ же нуль. Ex nihilo nihil. Изъ ничего ничего. Значитъ, и религія прогресса — та же „религія лжи", которую проповѣдуетъ Лука, „старецъ лукавый". И ежели „черезъ десять тысячелѣтій культурной работы люди, наконецъ, познаютъ истину настоящаго Бога такъ же ясно, какъ дважды два четыре", то уже и сейчасъ имя этого Бога познано, хотя и не названо: имя Его — „Отецъ лжи" и „Человѣкоубійца". *Знаетъ ли его Чеховъ?* Сдѣлалъ ли онъ этотъ выводъ, единственно-разумный, но, можетъ быть, болѣе страшный, чѣмъ само безуміе? Во всякомъ случаѣ, нѣтъ никакого основанія думать, чтобы онъ этого не зналъ и не сдѣлалъ.

— „Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе, сію минуту: что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?" — молитъ ученица учителя, умирающаго профессора въ „Скучной исторіи".

— „Что же я могу сказать?—недоумѣваетъ онъ.—Ничего я не могу.

— „Помогите! — рыдаетъ она. — Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! *Вы были учителемъ*! Говорите же: что мнѣ дѣлать?" Онъ молчитъ, потомъ отвѣчаетъ:

— „*По совѣсти не знаю*".

А вѣдь, кажется, долженъ бы знать: вѣдь онъ все еще вѣритъ въ науку. Такъ почему же не отвѣтилъ: „вѣрьте въ науку, вѣрьте въ прогрессъ?" Что же мѣшаетъ ему отвѣтить такъ, „по совѣсти"? Или онъ уже самъ не вѣритъ, и то, что всю жизнь казалось ему истиной, теперь перед-

смертью, кажется ложью? И стыдно лгать предъ лицомъ смерти, предъ лицомъ истины?

„Для меня ясно,—признается онъ,—что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ и въ стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, которыя я составляю обо всемъ, *нѣтъ чего-то общаго, что связало бы все это въ одно цѣлое.* Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, или *богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то значитъ нѣтъ и ничего. Я побѣжденъ.*"

Но вѣдь это приговоръ не только ему, но и всему, во что онъ вѣрилъ и другихъ училъ вѣрить. „Страшно впасть въ руки Бога живого". Онъ впалъ въ руки Бога и все-таки не видитъ лица Божьяго, стыдится имени Божьяго, пишетъ „богъ" съ маленькой буквы, чтобъ его не заподозрили въ измѣнѣ наукѣ.

Но эта „общая идея", это соединеніе, „связь всего въ одно цѣлое", которыхъ ему недостаетъ и отъ недостатка которыхъ онъ погибаетъ,—вѣдь это и есть Богъ, не отвлеченный, мертвый, маленькій „богъ", а настоящій, великій, живой, о которомъ и сказано: „страшно впасть въ руки Бога живого".

Таково признаніе чеховскаго героя, кажется, очень близкаго самому Чехову. А вотъ признаніе одного изъ героевъ Горькаго, кажется то-же близкаго самому Горькому:

„Кто есть мой Богъ? Еслибъ я зналъ это!... Я открылъ въ себѣ немало добрыхъ чувствъ и желаній, немало того, что обыкновенно называютъ хорошимъ; *но чувства объединяющаго все это, стройной и ясной мысли, охватывающей всѣ явленія жизни, я не нашелъ въ себѣ...* Я существую внутренне опустошенный... Я уже трупъ".

Не кажется ли, что оба признанія—изъ одной души?

Далѣе—послѣдній отчаянный крикъ: „Хоть бы удариться въ мистицизмъ! Хоть бы кусочекъ какой-нибудь вѣры!"—

UNIVERSITY OF MICHIGAN

и чеховскій интеллигентъ проваливается въ ту-же бездонную пустоту, какъ горьковскій босякъ. „Все гадко, не для чего жить, а тѣ шестьдесятъ два года, которые уже прожиты, слѣдуетъ считать пропащими“, рѣшаетъ передъ смертью старый профессоръ въ „Скучной исторіи“.

— „Жизнь скучна, грязна, глупа... Ничего я не хочу, ничего мнѣ ненужно, никого я не люблю“, рѣшаетъ Ивановъ передъ самоубійствомъ.

— „Насъ нѣтъ, ничего нѣтъ на свѣтѣ, мы не существуемъ, а только кажется, что существуемъ. И не все ли равно?“ говоритъ въ „Трехъ сестрахъ“ страшный Чебутыкинъ, живой мертвецъ. Это тотъ же самый ужасъ небытія, который испытываетъ и горьковскій босякъ: „Вдругъ все исчезнетъ изъ тебя, точно провалится насквозь куда-то... *Совсѣмъ ничего нѣтъ*! Даже страшно... Какъ будто ты не человѣкъ, а оврагъ бездонный... Ничего во мнѣ нѣтъ“...

Бездна не только отталкиваетъ, но и притягиваетъ.

— „Братцы, мы всѣ лопнемъ, ей Богу! А отчего лопнемъ? Оттого что лишнее все въ насъ и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтобъ я умеръ!.. Хочу, чтобъ я умеръ!“ Послѣднее самоутвержденіе приводитъ къ послѣднему самоотрицанію. „Я теперь довелъ себя до такой точки, что могу голый на землѣ спать и траву жрать. Ничего мнѣ не надо, ничего не хочу!“ говоритъ уже не горьковскій, а чеховскій босякъ, ссыльный Семенъ Толковый. До этой же самой „точки“ доводятъ себя и чеховскіе интеллигенты: и они могутъ, въ смыслѣ религіозномъ, умственномъ и нравственномъ, „голые на землѣ спать и траву жрать“; и у нихъ нѣтъ ничего и ничего имъ не надо. Тутъ чеховскій интеллигентъ сливается съ горьковскимъ босякомъ уже окончательно. У обоихъ спокойное, научно-позитивное: ничего не знаемъ — превращается въ яростное, мистическое: ничего не хотимъ, *хотимъ ничего*; ужасъ небытія — въ жажду небытія, въ жажду всемірнаго разрушенія и хаоса.

„Ничего не нужно. Пусть земля провалится въ тар-

тарары!"—это послѣднее желаніе чеховскаго интеллигента совпадаетъ съ послѣднимъ желаніемъ горьковскаго босяка: „Пусть все скачетъ къ чорту на кулички! Мнѣ было бы пріятно, если-бъ земля вдругъ вспыхнула и сгорѣла, или разорвалась бы въ дребезги!"

Разрушеніе для разрушенія, хаосъ для хаоса – конецъ міра, который идетъ не извнѣ, а изнутри, изъ души человѣческой, изъ проснувшагося въ ней, зашевелившагося хаоса,—тотъ конецъ міра, та всеобщая погибель, о которыхъ поетъ свирѣль Луки Бѣднаго: „весь міръ идетъ прахомъ... А коли погибать міру, такъ ужъ скорѣй бы! Нечего канителить и людей попусту мучить"...

Когда докторъ „Палаты № 6" умираетъ въ сумасшедшемъ домѣ отъ апоплексическаго удара, то въ послѣднюю минуту передъ потерей сознанія, думаетъ о безсмертіи: „А вдругъ оно есть? — *Но безсмертія ему не хотѣлось*", утверждаетъ Чеховъ. — *„Потомъ все исчезло.* Онъ забылся на вѣки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли въ часовню", или — „бросили въ яму", какъ онъ предчувствовалъ еще при жизни, или „въ вагонъ для перевозки свѣжихъ устрицъ", какъ, можетъ быть, предчувствовалъ о себѣ Чеховъ, который согласенъ, по крайней мѣрѣ, не считаетъ нужнымъ заявить несогласія со своимъ героемъ, что безсмертія нѣтъ, да и „не хочется безсмертья". Все гадко, все просто, все безсмысленно. Ни надежды, ни страха, ни возмущенія, ни даже муки. Одно безпредѣльное, тупое, простое, тихое, животное, скотское отчаяніе — бездонная пустота.

„Я умираю. *Ich sterbe*" эти два слова, говорятъ, Чеховъ произнесъ передъ смертью и больше ничего не прибавилъ, да ему и нечего было прибавить: смерть есть смерть, какъ „дважды два есть четыре"; смерть—ничто, и жизнь—смерть, все – смерть, все—ничто. И мертвое тѣло Чехова положатъ въ „вагонъ для перевозки свѣжихъ устрицъ", и надъ гробомъ покойнаго учителя живые учителя будутъ говорить рѣчи о прогрессѣ, о здѣшней вѣчной жизни, о будущемъ

UNIVERSITY OF MICHIGAN

раѣ земномъ, о великомъ человѣческомъ разумѣ, который „изобрѣтетъ когда нибудь безсмертіе". И пусть говорятъ! Пусть даже Чебутыкинъ, живой мертвецъ, напѣваетъ свою веселенькую тарарабумбію. Не все ли равно? „Смерть слова не боится", какъ утверждаетъ одинъ изъ босяковъ „На днѣ". — „Мертвецы не воскреснутъ, мертвецы не слышатъ... Кричи, реви... мертвецы не слышатъ".

Не потому смерть есть смерть, что нѣтъ безсмертія, а потому что „и не хочется безсмертія", не нужно его, ничего не нужно, или вѣрнѣе, *нужно ничего*. И не потому не вѣрующій въ безсмертіе не вѣритъ, что безсмертія нѣтъ; а потому и нѣтъ для него безсмертія, что онъ въ него не вѣритъ, не хочетъ его, и если бы зналъ, что оно есть, то все-таки не захотѣлъ бы, — какъ Иванъ Карамазовъ, „возвратилъ бы почтительнѣйше билетъ свой Богу".

Это-то и есть истинная смерть, не только тѣлесная, но и духовная, вѣчная смерть, предсказанная въ Апокалипсисѣ, *вторая смерть*, отъ которой нѣтъ воскресенія.

Религія прогресса, здѣшней вѣчной жизни становится религіей нездѣшней вѣчной смерти, религіей небытія — тою самою, которую проповѣдуетъ „бывшимъ людямъ", мертвымъ и „голымъ" людямъ Лука, старецъ лукавый, служитель самого Отца лжи, „умнаго и страшнаго Духа небытія".

У Достоевскаго есть ужасный разсказъ „Бобокъ". Кто-то, зайдя случайно на петербургское кладбище подслушиваетъ разговоръ покойниковъ. Оказывается, что передъ тѣмъ, чтобы умереть окончательно, они просыпаются ненадолго. „Остатокъ жизни сосредоточивается въ сознаніи. Это продолжается жизнь какъ-бы по инерціи... мѣсяца два, или три... иногда даже полгода"... Потомъ они опять засыпаютъ уже навѣки. „Есть, напримѣръ, здѣсь одинъ такой, который почти совсѣмъ разложился, но разъ недѣль въ шесть онъ все еще вдругъ пробормочетъ одно слово, конечно, безсмысленное, про какой-то бобокъ: „Бобокъ, бобокъ", — но и въ немъ, значитъ, жизнь все еще теплится незамѣтною искрой"... Этотъ

краткій промежутокъ между двумя смертями, первою и второю, дается, будто-бы, людямъ для того, чтобы они „успѣли спохватится“; это — „послѣднее милосердіе“. Главный ужасъ въ томъ, что послѣ смерти ничего не измѣнилось, все осталось по-прежнему; „все, что у васъ, есть и у насъ“; только перемѣнилась точка зрѣнія — и все, оставаясь попрежнему, вмѣстѣ съ тѣмъ опрокинулось, перевернулось, открылось съ другой стороны. Они знаютъ, что умерли, но не могутъ или не хотятъ этого узнать до конца, постоянно, забываютъ, смѣшиваютъ, путаютъ, не могутъ привыкнуть къ новой точкѣ зрѣнія. Все, какъ было — ничего страшнаго; но страшнѣе всего, что можно себѣ представить, эта продолжающаяся агонія, эти судороги сознанія между двумя метафизическими порядками. Они разговариваютъ, *какъ будто ничего не случилось*, болтаютъ о пустякахъ, играютъ въ преферансъ „на память“, шутятъ, смѣются, бранятся, сплетничаютъ, говорятъ непристойности. Но пошлость жизни принимаетъ исполинскіе размѣры sub specie aeterni, „подъ знакомъ вѣчности“, выступаетъ съ ослѣпительною четкостью, какъ темныя очертанія предметовъ на бѣломъ свѣтѣ. Одинъ молодой покойникъ изъ высшаго общества предлагаетъ „провести эти два мѣсяца какъ можно пріятнѣе и для того всѣмъ устроиться на иныхъ основаніяхъ“: — „Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!.. Мы всѣ будемъ вслухъ разсказывать наши исторіи и уже ничего не стыдиться... Все это тамъ, вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживемъ эти два мѣсяца въ самой безстыдной правдѣ! *Заголимся и обнажимся!*“

Два послѣднія и, можетъ быть, величайшія произведенія Чехова „Три сестры“ и „Вишневый садъ“ — напоминаютъ „Бобокъ“. Кажется, что всѣ дѣйствующія лица давно умерли, и то состояніе, въ которомъ они находятся, есть „жизнь, продолжающаяся только по инерціи“, промежутокъ между двумя смертями — „послѣднее милосердіе“. Они, впрочемъ, и сами подозрѣваютъ, что ихъ уже нѣтъ, что они умерли: „насъ нѣтъ... мы не существуемъ, и только

UNIVERSITY OF MICHIGAN

кажется, что мы существуемъ". Они что-то говорятъ, что-то дѣлаютъ, но сами не знаютъ что. Бредятъ, какъ полусонные, полумертвые. Когда Чебутыкинъ напѣваетъ свою „тарарабумію", то кажется, что это „мертвецъ, уже почти совсѣмъ разложившійся" лепечетъ: „Бобокъ, бобокъ!" Они и всѣ не живутъ, а разлагаются, тлѣютъ и смердятъ другъ другу, и задыхаются отъ взаимнаго смрада. Но уже ничего не стыдятся—„заголились и обнажились" въ послѣднемъ цинизмѣ пошлости, въ послѣдней наготѣ и пустотѣ душевной. О нихъ можно сказать то, что у Достоевскаго говорятъ слушатель „Бобка": „Нѣтъ, этого я не могу допустить... Развратъ въ такомъ мѣстѣ, развратъ послѣднихъ упованій, развратъ дряблыхъ и гніющихъ труповъ—и даже не щадя послѣднихъ мгновеній сознанія! Имъ даны, подарены эти мгновенія и... Нѣтъ, этого я не могу допустить".

Иногда они какъ будто хотятъ „спохватиться", опомниться—шепчутъ съ тоскою: „Если-бы знать, если-бы знать!"—но тотчасъ опять засыпаютъ и бредятъ сквозь сонъ, сквозь смерть о жизни, о счастіи, о молодости, о журавляхъ, летящихъ въ небѣ, неизвѣстно куда и зачѣмъ, о цвѣтущемъ вишневомъ садѣ, о будущемъ раѣ земномъ: „черезъ двѣсти, триста лѣтъ, какая будетъ жизнь, какая жизнь!" Но между двумя гимнами жизни раздается веселенькая „тарарабумбія", какъ тихій „бобокъ, бобокъ", или тихій смѣхъ діавола, „умнаго и страшнаго духа небытія". Діаволъ можетъ смѣяться. „Мертвецы не воскреснутъ, мертвецы не слышатъ... Кричи, реви... Мертвецы не слышатъ". И этимъ смѣхомъ кончается все.

А когда все кончено, когда всѣ уже умерли второю смертью, тогда выступаетъ безсмертный Ермолай Лопахинъ, совершитель прогресса, владѣлецъ вишневаго сада, владѣлецъ грядущаго рая земного, „гордый, голый человѣкъ", торжествующій босякъ, торжествующій хамъ.

— „Приходите всѣ смотрѣть, какъ Ермолай Лопахинъ хватитъ топоромъ по вишневому саду, какъ упадутъ на

землю деревья! Настроимъ мы дачъ, и ваши внуки и правнуки увидятъ тутъ новую жизнь"...

Такъ вотъ она, эта новая жизнь, этотъ новый рай земной — рай Лопахинскихъ дачъ

— „Музыка, играй!... *Пускай все какъ я желаю!* Идетъ новый помѣщикъ, владѣлецъ вишневаго сада! *За все могу заплатить*!"

Ермолай Лопахинъ, проповѣдникъ вѣчной жизни, — первый маленькій хамъ; за нимъ идетъ второй хамъ, побольше — старецъ Лука, проповѣдникъ вѣчной смерти, съ ласковымъ шопотомъ: „я и жуликовъ уважаю... я и трупики уважаю, — по моему, ни одна блоха не плоха, всѣ черненькія, всѣ прыгаютъ" — и спрыгнувъ, летятъ въ пустоту. За старцемъ Лукою придутъ хамы еще побольше, и, наконецъ, послѣдній, самый великій, Грядущій Хамъ.

И вся русская интеллигенція рукоплескала этому торжеству новой жизни. И никто не почувствовалъ трупнаго запаха, никто не понялъ, что это не новая жизнь, а „бобокъ". Можетъ быть, впрочемъ, и понимать было некому, потому что не только на сценѣ, но и въ зрительной залѣ былъ тотъ же „бобокъ"?

Понималъ ли самъ Чеховъ? Если и понималъ, то никому не говорилъ, молчалъ — не отъ страха ли молчалъ, не отъ страха ли и умеръ?

Когда уходитъ Ермолай Лопахинъ, — старый домъ заколачиваютъ и въ немъ воцаряется „мерзость запустѣнія". Остается одинъ старый слуга Фирсъ, домовой стараго дома и вишневаго сада, послѣдній поэтъ и художникъ стараго быта. Но умираетъ и онъ.

— „Жизнь-то прошла, словно и не жилъ. Я полежу... Силушки-то у тебя нѣту, ничего не осталось, ничего... Эхъ ты... недотепа!"

— „Я умираю. Ich sterbe". Это послѣднія слова, произнесенныя Чеховымъ.

„Наступаетъ тишина, и только слышится, какъ далеко

UNIVERSITY OF MICHIGAN

въ вишневомъ саду топоромъ стучатъ по дереву". Это послѣднія слова, написанныя Чеховымъ.

Они оказались пророчествомъ. Только что онъ умеръ — застучалъ топоръ. Уже сѣкира при корни. Всякое дерево, не приносящее плода, срубаютъ и бросаютъ въ огонь. Только что смолкъ послѣдній звукъ свирѣли, пѣвшей о концѣ, — начался конецъ.

Чеховъ молчалъ, но чего ему стоило это молчаніе, показываютъ нѣкоторые неосторожныя признанія чеховскихъ героевъ.

„Если я писатель, — говоритъ писатель Тригоринъ, — то я обязанъ говорить о народѣ, объ его страданіяхъ, объ его будущемъ, говорить о наукѣ, о правахъ человѣка и прочее, и прочее... И я говорю обо всемъ, тороплюсь, меня со всѣхъ сторонъ подгоняютъ, сердятся, я мечусь изъ стороны въ сторону, какъ лисица, затравленная псами... Мнѣ кажется, что меня обманываютъ, какъ больного, и я иногда боюсь, что вотъ-вотъ подкрадутся ко мнѣ, схватятъ и повезутъ, какъ Поприщина, въ сумасшедшій домъ".

„Трудно сознаться въ своемъ банкротствѣ, — говоритъ неизвѣстный человѣкъ въ расказѣ того-же названія. — Тяжело быть искреннимъ и *я молчалъ*. Не дай Богъ никому пережить то, что я пережилъ".

А когда русская интеллигенція приступала къ Чехову съ такою же отчаянной мольбою, какъ „бѣдняжка" ученица стараго профессора въ „Скучной исторіи" къ своему учителю: „Что мнѣ дѣлать?" — то Чехову хотѣлось отвѣтить ей такъ же, какъ старый профессоръ отвѣтилъ „бѣдняжкѣ":

— „По совѣсти, не знаю"...

Но Чеховъ былъ слишкомъ „остороженъ", чтобы отвѣтить такъ. Онъ могъ бы сказать о себѣ то, что говоритъ старому профессору пріятель, который уже не вѣритъ въ науку.

— „Я осторожнѣе, чѣмъ вы думаете и не стану говорить это публично, спаси Богъ!"

И Чеховъ отвѣчалъ „бѣдняжкѣ":

— „Черезъ двѣсти, триста лѣтъ будетъ рай земной"...

„Рай Лопахинскихъ дачъ“ — могъ бы онъ прибавить, но не прибавлялъ, а только усмѣхался и, какъ Чебутыкинъ, тихонько про себя напѣвалъ: „Тарарабумбія“.

Можетъ быть, это и была одна изъ тѣхъ минутъ, когда онъ чувствовалъ себя, какъ писатель Тригоринъ, „лисицей, затравленной псами“ и „боялся, что къ нему подкрадутся, схватятъ его и повезутъ, какъ Поприщина, въ сумасшедшій домъ“.

Но Чехоъ боялся напрасно: „бѣдняжка“ повѣрила и поклонилась ему, какъ пророку.

Остороженъ и Горькій — можетъ быть, еще осторожнѣе Чехова. Но иногда и у Горькаго вырываются неосторожныя признанія:

— „Кто есть твой Богъ? — спрашиваетъ читатель писателя въ разсказѣ, похожемъ на исповѣдь. — Покажи мнѣ въ душѣ твоей хоть что-нибудь, что помогло бы мнѣ признать въ тебѣ учителя!“

„Онъ представлялъ себя выше жизни,—говоритъ Горькій о босякѣ торжествующемъ. — Онъ видѣлъ себя твердо стоящимъ на ногахъ и нѣмымъ. Онъ могъ бы крикнуть людямъ: „Какъ живете? Не стыдно-ли?“ И могъ бы обругать ихъ. Но если они, услыхавъ его голосъ, спросятъ: „А какъ надо жить?“—онъ прекрасно понималъ, что послѣ такого вопроса ему пришлось бы слетѣть съ высоты кувыркомъ, туда, подъ ноги людямъ... И смѣхомъ проводили бы его гибель“.

„Если меня когда-нибудь будутъ бить, то меня не изувѣчатъ, а убьютъ“, признается другой босякъ, который открылъ, что „истинный Шекинахъ есть человѣкъ“— человѣкъ есть Богъ.

Но и Горькій напрасно боялся. „Бѣдняжка“ и ему повѣрила, и ему поклонилась, какъ пророку.

И не совсѣмъ ошиблась. Чеховъ и Горькій, дѣйствительно, „пророки“, хотя не въ томъ смыслѣ, какъ о нихъ думаютъ, какъ, можетъ быть, они сами о себѣ думаютъ. Они „пророки“, потому что благословляютъ то, что хотѣли

UNIVERSITY OF MICHIGAN

проклясть, и проклинаютъ то, что хотѣли благословить. Они хотѣли показать, что человѣкъ безъ Бога есть Богъ; а показали, что онъ — звѣрь, хуже звѣря — скотъ, хуже скота — трупъ, хуже трупа — ничто.

Но если они не научили насъ тому, чему хотѣли научить, зато научили тому, чему не хотѣли — и это къ лучшему. Любовь, которою мы ихъ любимъ, истинная любовь; вѣнецъ, которымъ мы ихъ вѣнчаемъ, истинный вѣнецъ. Мы любимъ ихъ за то, что они страдаютъ за насъ; вѣнчаемъ за то, что они гибнутъ за насъ. Но мы должны помнить, что это вѣнецъ не торжествующихъ героевъ, а искуплящихъ жертвъ, и что если опустится ножъ, занесенный надъ этими жертвами, то онъ поразитъ не только ихъ, но и насъ всѣхъ.

Подумаемъ же о томъ, какъ бы остановить этотъ ножъ.